



Памятник В.М. Шукшину на горе Пикет в с. Сроетки

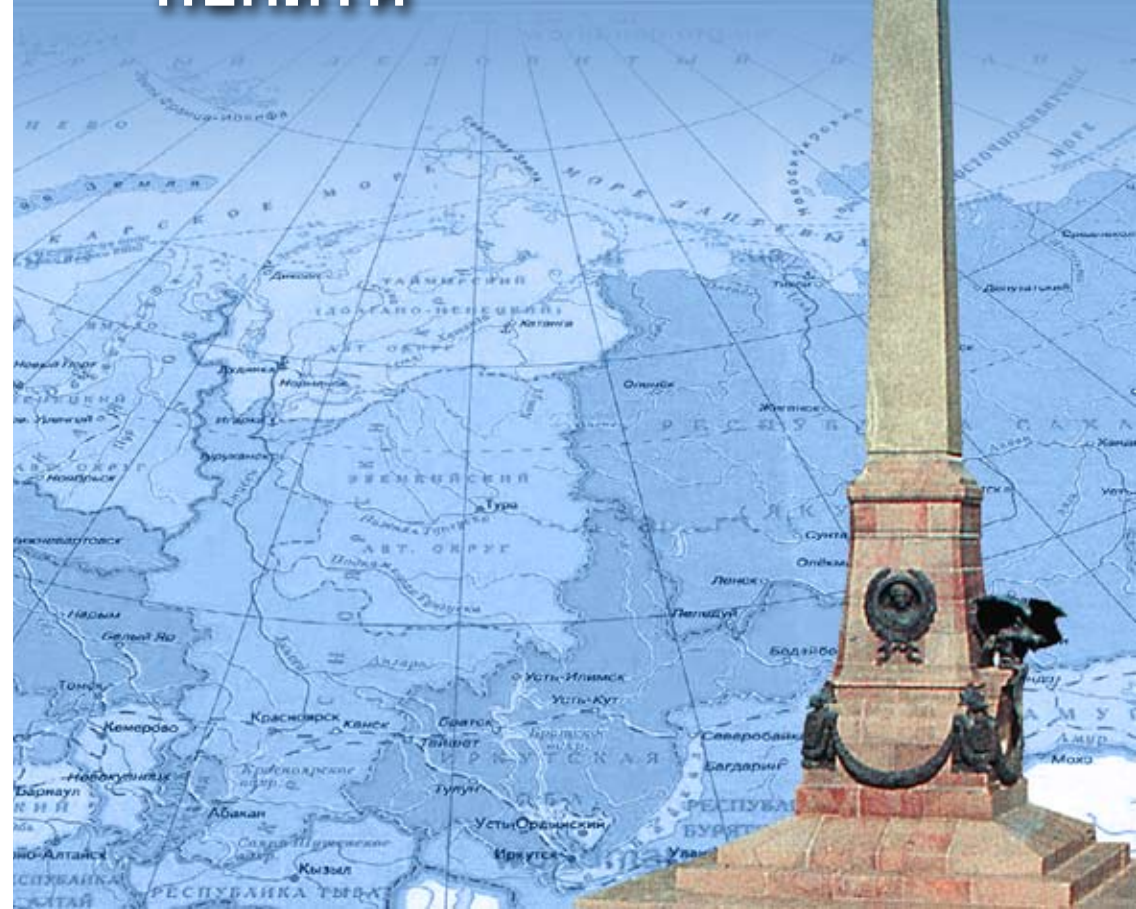
М.Я. Рожанский
Сибирь
как пространство
памяти

Иркутск
2014

Рожанский М.Я. Сибирь как пространство памяти

М.Я. Рожанский

Сибирь как пространство памяти



**Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
Межрегиональный институт общественных наук при ИГУ**

М.Я. Рожанский

Сибирь как пространство памяти

**Иркутск
2013**

УДК 950
ББК 63.3(5)

Печатается по решению Ученого совета исторического факультета
Иркутского государственного университета

Монография подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., соглашение № 14.В37.21.0258 «Режимы воспроизводства исторической памяти в современной России: между культурой и политикой» и в рамках Программы стратегического развития ИГУ, тема Р222 – МИ – 002 «Развитие НОЦ МИОН как международного центра междисциплинарных гуманитарных исследований»

Автор: директор Центра независимых социальных исследований и образования, эксперт МИОН при ИГУ, к. филос. н. М.Я. Рожанский

Рецензенты:

Эмилия Кустова, профессор Страсбургского университета
Наталья Николаевна Родигина, доктор исторических наук,
профессор Новосибирского государственного педагогического
университета

Рожанский М.Я. Сибирь как пространство памяти: Монография.
Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2013. 180 с.

Монография включила статьи, написанные на основе полевых исследований в различных городах Сибири, а также эссе, посвященные актуальным проблемам «политики памяти» в Иркутске. Фрагментарность структуры задана самой ситуацией комментатора динамичных метаморфоз исторической памяти в современной городской жизни. В фокусе внимания «места памяти» и обращение с ними, участие исторической памяти в социальной истории советской и нынешней Сибири.

ISBN 978-5-905847-98-1

© ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Иркутск, 2013

© М.Я. Рожанский, 2013

Несостоявшиеся встречи. Предисловие.

Словосочетание «пространство памяти» в этой книге – не попытка ввести новое понятие, а стремление подчеркнуть, что существуют особенности функционирования памяти в том социальном пространстве, которое называется Сибирью. Уверенность, что память должна играть ключевую роль в социальном развитии – основа существования исторического знания, обращения литературы и искусства к сюжетам прошлого. Но предметом исследования историков, социологов, философов роль памяти стала лишь в последние три десятилетия¹. Наряду с «устной историей», плодотворным стало научное направление, заданное французским историком Пьером Нора и коллективным проектом, реализованным под его руководством². Ключевое понятие этого направления – место памяти. Местом памяти может быть любой знак (имя, топоним, памятник, событие), который присутствует в человеческой повседневности в качестве символа³, актуализирующего для человека его отношения с историей.

На углу Хмельницкого и Дзержинского. Возникновение мест памяти, наделение неких объектов символическими значениями, выражающими оценку исторических событий и персонажей – форма увековечивания людьми своих представлений, один из способов продления своего присутствия в мире. Естественно,

¹ См. в русских переводах: Пол Томпсон. Голос прошлого. Устная история/Пер. с англ. – М.: «Весь мир», 2003; Поль Рикёр. Память, история, забвение/Пер. с франц. – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004; Патрик Х.Хаттон. История как искусство памяти/Пер. с англ. – СПб.: «Владимир Даль», 2003. Заметим, что примерно одновременно, на последнем этапе советской эпохи, русская литература, в том числе (и даже в первую очередь) с «сибирским акцентом», вывела проблемы «памяти-беспамятства» в центр общественной дискуссии в стране и эта синхронность процессов имеет свои причины, которые в рамках данной статьи, конечно, разбирать невозможно.

² Les Lieux de Memoire/sous la direction de Pierre Nora. – P: Ed.Gallimard, 1984-1993; На русском языке этот семитомный труд представлен книгой «Франция-Память/ П.Нора, М.Озуф,Ж.деПюиомеж, М.Винок; Пер.Д.Хапаевой – СПб: Из-во С.-Петерб.ун-та, 1999. Первый опыт масштабного исследования мест памяти социалистического мира был осуществлен еще до разрушения Советского Союза и соцлагеря: A l'Est, la memoire retrouvee. - P:Ed. La Decouverte, 1990

³ «Комбинацию знака и его значения мы называем символом» – так определяет Уильям Уорнер, опираясь на Э.Кассирера, в классическом исследовании роли символизма в современном обществе – Уорнер У. Живые и мертвые.-М.-СПб: Университетская книга, 2000.

что места памяти оказываются ресурсом власти и власть, идеологии стремятся наполнить пространство человеческой жизни близкими им смыслами и таким образом управлять человеческой повседневностью, умонастроениями, историческими мифами. В целях такого идейного управления от имени истории учреждаются новые места памяти или наделяются новыми значениями уже возникшие символы. Прослеживая, как трансформируются, как функционируют места памяти, мы исследуем, как прошлое участвует в нынешней жизни. Конфликты, дискуссии вокруг мест памяти рельефно являют, как сталкиваются социальные представления, человеческие опыты, культурные миры, и как происходит (или не происходит) освобождение памяти человека от идеологической зависимости.

Советская эпоха как идеократическая использовала ресурс «мест памяти» в максимальной степени и не только увековечивала свои идейные смыслы, но и стремилась вычеркнуть приметы предшествующих эпох, рассматривая их исключительно как символы, которые надо заменить новыми, советскими. В сибирских городах это видно отчетливо. Большинство топонимов исторического центра Иркутска, например, имеют точную дату рождения – трехлетнюю годовщину Октября, когда иркутские большевики осуществили почти полное в масштабе города переименование. С 5 ноября 1920 года до сегодняшнего дня имена улиц, даже возникших много лет спустя после «революционных крестин» города, в основном связаны с «большой» историей войн и революций, либо с революционными иркутскими событиями. За почти два десятилетия, прошедших с радикального начала ревизии советской истории в массовом сознании, несколько попыток поставить вопрос о переименовании улиц даже не вызвали сколь либо заметной общественной дискуссии. Такая индифферентность к присутствию советских мест памяти достаточно характерна для сибирских городов и пример Иркутска позволяет видеть, что это нельзя объяснить политическими убеждениями горожан (ни одни из выборов не свидетельствуют об особых симпатиях к коммунистической идеологии) и что речь не идет об идеологической зависимости. Вряд ли можно говорить даже о том, что горожане соглашались жить в мире, созданном идеологией – этот мир еще в советскую эпоху ин-

дивидуально освоен, часто даже «обывовлен». Люди – не протестуя, а просто живя – включают улицы, памятники, любые места памяти в свою собственную жизнь, связывают с ними в своей памяти события, имеющие значение индивидуальное. Можно даже говорить о пассивном сопротивлении – особенно, когда значения, предписанные идеологией, занижены ироничными псевдонимами памятников и топонимов, анекдотами о событиях или канонизированных персонажах. Пьер Нора рассматривает основанное им направление социальных исследований как деятельность по денационализации памяти, движение от мифа, от истории к самопознанию⁴. Но денационализация происходит, если есть достаточно сильные основания «снизу», протест обывателей против огосударствления пространства их жизни через «места памяти». Общественная дискуссия вокруг советской истории, радикальный пересмотр советских мифов не затронули иркутской топонимики – названия улиц, площадей и районов редко имеют отношение к прошлому самого города и почти никогда к его мирному прошлому. «Национализированная память» в России также централизована, как экономическая, политическая и идейная жизнь. Парадоксальным образом денационализация памяти в постсоветской Сибири произошла к сегодняшнему моменту как игнорирование общероссийской тенденции «восстановления имен», право на самостоятельное отношение к миру публичной памяти реализовано, но реализовано в ограниченной форме – как неприятие общероссийской тенденции. Однако до эмансипации мест памяти от идеологических смыслов процесс не дошел. Существенно, что у подавляющего большинства сибирских горожан история их семьи связана с городом, где они живут, исключительно в советский период. Но степень близости-неблизости пространства определяется не только стажем жизни в нем, а в большей степени тем, насколько человек готов принимать его как «свое». И здесь мы сталкиваемся с социокультурными явлениями, хронологически не вписывающимися в советскую историю. Более того – обнаруживаем проблемы отношений между человеком и пространством, являющиеся как следствием российской истории, так и одним из определяющих её факторов, который невозможно игнориро-

⁴ Пьер Нора. Эра коммемораций//Франция-Память, указ.изд., сс.95-148

вать, анализируя в том числе причины и особенности советского – идеократического – этапа модернизации. Особенно рельефно эти проблемы проступают в истории «русской Сибири».

Побег в будущее Советский проект был решительным разрывом с прошлым, повсеместная смена топонимики – лишь одно из проявлений культурной амнезии. Можно отнести насаждение беспамятства на совесть новых революционных властей. Но культурная амнезия – не столько результат идеократии, сколько её почва. Еще Василий Ключевский писал о русском обычае «начать все сначала», объясняя им то, что история России – периодические рывки, полные презрения к прошлому. Современный исследователь А.А. Сусоколов относит этот «обычай» на счет господства в России аффективных отношений между людьми и связывает данную социокультурную особенность с экстенсивным характером развития этноса⁵, то есть с тем, что основным способом решения проблем является освоение новых ресурсов и, прежде всего, нового пространства. Для человека, живущего в России, перемещение – не просто средство изменения жизни. Уход от неразрешимых проблем к неизвестным трудностям – едва ли не единственная радикальная возможность преодолеть социальную детерминированность индивидуальной жизни. Изменения «на месте» предполагают культуру компромисса – как с непосредственным окружением, так и с ушедшими поколениями, невозможность разрывать отношения с предками. Иначе шел процесс формирования русского (или российского) этноса и едва ли не самым существенным фактором этого процесса было наличие пространства, куда можно было уйти человеку или «уйти человека» – люди пытались уйти от трудностей тупиковых к иным, казавшимся преодолимыми, либо забрасывались за Урал и на Юг властью как для решения экономических задач, так и для того, чтобы трудностей не создавали. Само формирование современного населения Сибири – этот уход от прошлого, бывший для конкретного человека или семьи побегом в буду-

⁵ Тезис о преобладании аффективных отношений, то есть отношений, основанных на личностной симпатии-антипатии, в отличие от позиционных, основанных на нормах, закрепленных за социальными позициями человека, раскрыт Ю.А. Морозовым в его работе «Пути России (модернизация неевропейских культур)». Вып. 1-4, М, 1991. В статье «Русский этнос в XX веке: этапы кризиса экстенсивной культуры» А.А. Сусоколов связывает это преобладание с экстенсивным характером развития этноса – Мир России, 1994, №2, с.26

щее, не менее радикальным, чем революция для страны. Уход от прошлого, вольный или невольный разрыв со «старым миром» оставался наиболее значимым (если не единственно значимым) прошлым в истории семьи, в биографии человека. Не рассматривалось как свое и прошлое того пространства, куда человек приходил «начинать сначала». Формула «освоение Сибири» не предполагает освоение выработанного на сибирском пространстве культурного опыта как ресурса налаживания жизни, особенно если этот опыт имеет иное этническое или цивилизационное происхождение.

«Первая женщина, проникшая в глубь Азии» Возникновение «русской Сибири» было одним из решающих этапов превращения Московской Руси в Россию и в то же время продвижением укладов, мировоззрений, культур, возникших в землях Северной, Московской, Западной Руси, в северную Азию. С 18 века этот процесс можно определять как продвижение на восток европейски-ориентированной культуры, а с конца 19 века – индустриальной цивилизации. Но это продвижение отнюдь не означало встречи с мировоззрениями и культурами Азии, цивилизационного контакта и взаимодействия. Экстенсивный характер возникновения России – одна из причин этой «невстречи», другая – исторический пафос европейской культуры и индустриальной цивилизации.

«Первая женщина, проникающая в глубь Азии» – заглавие стенда, посвященного Александре Потаниной⁶ в музее г. Кяхта. Заглавие можно считать курьезом, а присутствие его в современном музее постмодернистской иронией, но курьез вполне соответствует, во-первых, пафосу *исторического* мира, открывающего и осваивающего мир, а, во-вторых, той культурной дистанции, которая сохранялась (и сохраняется) между русско-европейской Сибирью и азиатскими цивилизациями.

В облике «старых» сибирских городов – не только районов советской застройки, но их исторических центров, формировавшихся в 19 веке, крайне редко можно заметить приметы автохтонных или соседних культур. Сибирская городская культура формировалась вне отношений с миром Азии. Возникновение

⁶ Александра Викторовна Потанина (1843-1893гг.) этнограф, автор работ по этнографии Центральной Азии, жена Григория Потанина и участница его экспедиций в Монголию, северный Китай, Тибет. В последней экспедиции умерла. Похоронена в Кяхте.

культурных гнезд в сибирских столицах – Томске, Иркутске, Красноярске, Омске – сопровождалось формированием сибирского самосознания, выразителями и пропагандистами которого стали областники. Отношение областников к «нерусской» Сибири не было единообразным. Если Серафим Шашков посвятил исследование положению «инородцев» в Сибири, а Григорий Потанин считал христианизацию местных народов неверной политикой, то Николай Ядринцев, хотя и с сентиментальными сожалениями, но с историческим оптимизмом писал, что народы Сибири окажутся жертвой неумолимого и необходимого прогресса⁷. В целом областничество заинтересованно симпатизировало автохтонным народам. Однако, сообщая о возникновении сибирской общности, областники не включали в достояние сибиряков опыт этих народов, их историю и культурное наследие. А на «большие» соседние – буддистскую, китайскую – идеологи областничества смотрели, хотя и с симпатией, но как на объекты цивилизаторской миссии, а не как на культурный ресурс Сибири.

Отношение к непохожим культурам и способам жизни как к отсталым, нижестоящим на некоей общецивилизационной шкале, где критерий цивилизованности – способность к изменениям, к преобразованию условий жизни – одна из ключевых характеристик новоевропейской модернизации, пытавшейся сочетать гуманизм с колониализмом. В собственно европейском сообществе последнее столетие происходило интенсивное преодоление симптомов подобного европоцентризма, а в науке и художественной культуре – его сути. В России же, даже в советской интернационалистской фазе её развития, модернизация оказалась стимулятором цивилизационного высокомерия, поскольку проходила через усиление преобразовательного пафоса, а не как обустройство человеческой жизни в конкретном пространстве.

Когда в Энциклопедическом словаре 1926 года писали, что «буряты обнаруживают способность и стремление к культуре и

⁷ Письма Н.М. Ядринцева к Г.Н. Потанину. – Красноярск, 1918, вып.1, с.85; См. статью А.В. Ремнева «Западные истоки сибирского областничества» в: Русская эмиграция до 1917 года – лаборатория либеральной и революционной мысли. СПб, 1997, сс.142-156.

уже выдвигают ученых и этнографов...»⁸ – в этом был не только пафос советского проекта «освобождения народов», смешанный с историческим невежеством, это еще и отношение к прошлому как к предисловию, а не как к части современной жизни. Точно так же европейское Просвещение относится к прошлому Европы, к России, реализуя основной принцип истории как способа жизни – смысл взглядов, идей, действий, событий определяется идеалом будущего. Сибирь – пространство, в котором соседствуют исторические и неисторические миры. Есть разница в том, как функционирует память в этих мирах и как культивируется прошлое, но разница не стала предметом осознания, способы согласования разных образов прошлого не выработаны.

Наиболее красноречивый случай – страсти вокруг находки новосибирских археологов, названной «принцессой Алтая». Конфликт возник практически сразу, когда после вскрытия одного из уникальных захоронений на плато Укок летом 1993 года было принято решение вывезти обнаруженную мумию знатной молодой женщины для исследований, реконструкции облика и музеефикации. Пик конфликта пришелся на 1994 год, затем, казалось, что он перешел в вялотекущее состояние при взаимной неудовлетворенности сторон, но вспыхнул с новой силой уже в 2004 году.

Мне известно только одно исследование конфликтной ситуации, возникшей вокруг «Принцессы Алтая», не принимающее в полемике позицию одной из конфликтующих сторон – документальный фильм National Geographic Television «Ледяная мумия». Сюжет фильма сначала строится как интрига археологического поиска и героиня фильма – руководитель экспедиции Сибирского отделения РАН Наталья Полосьмак – позволяет почувствовать мотивы научного познания прошлого. Но постепенно в центр внимания выходит непонимание, возникшее между новосибирскими археологами и интеллигентами из Горно-Алтайска. Именно эта тема создает основную интригу фильма и заставляет вслушиваться в слова другой героини – руководителя республиканского музея Риммы Еркиновой. Что не понимает эта «сторона»? Несакральное отношение к прошлому. Римма Еркинова вспоминает своё резкое возмущение («Когда мы узнали, какими

⁸ Новейший энциклопедический словарь /под общей редакцией редколлегии «Вестник Знания». – Изд-во «П.П.Сойкин», Ленинград, 1926-27, с.392.

методами...»), вызванное рассказом археологов о том, как они осторожно, постепенно поливая кипятком из кружки, размораживали ледяной куб, в котором находилась мумия. Археологи не понимают, как можно препятствовать научному познанию. Что же касается «методов», то Наталья Полосьмак в американском фильме вынуждена оправдываться «работаем с физической оболочкой, не тревожим душу» и эта фраза исследовательницы обнаруживает, что за её способами обращения с прошлым арсенал современной науки, но и более глубинные основания европейской культуры. И тем самым заставляет думать о том, почему собственно ценности именно европейской цивилизации имеют некий приоритет, когда принимаются решения в пространстве, где эта цивилизация не единственна. Иначе говоря, в истории с «принцессой Алтая» столкнулись два принципа отношений с прошлым – принцип ненарушения прошлого и принцип музеефикации и исследования прошлого – и соответственно две культуры памяти⁹.

Для Сибири (а благодаря роли сибирских ресурсов – и для России в целом) эта несостоявшаяся встреча российско-европейской культуры и североазиатских – не просто проблема

⁹ Характерно, что в отличие от журналистских публикаций – зарубежных и отечественных – по поводу конфликта вокруг «Принцессы Алтая», авторы фильма-исследования не уделяют внимание политическому аспекту событий и тем более не определяют этническую принадлежность сторон. Обычно при возникновении конфликтов, которые называют «межэтническими», очевидные политические и экономические интересы либо не позволяют увидеть проблему межкультурных контактов, либо превращают межкультурные различия в предмет политической «злобы дня». Поэтому для социально-философского анализа и, следовательно, для перспективы согласования различий цивилизационных особенно важно услышать, как конфликтующие стороны артикулируют мотивы собственных действий, а не указывать на политическую конъюнктуру или корысть, идя на поводу у взаимных обвинений. Мне удалось взять в 1999 году несколько фокусированных интервью у интеллигентов Горно-Алтайска. Эти интервью свидетельствуют о том, что взаимное непонимание позиций сохранилось и когда остыла полемика «по горячим следам», об этом же говорит и книга В. Молодина «Древности плоскогорья Укок: тайны, сенсации, открытия. Научно-популярные очерки», вышедшая в Новосибирске в 2000 году. Заметим на полях, что степень непонимания еще обусловлена и тем, что одной из сторон оказались археологи именно Академгородка, то есть «молодого города», основанного в качестве агента модернизации Сибири, городское сообщество которого формировалось в том числе и на энтузиазме преобразования, а научные структуры в настроении недоверия к уже существовавшим в «старых» городах университетским центрам. Поэтому вполне объяснимо, что в истории с «принцессой Алтая» новосибирские и алтайские археологи оказались по разные стороны, а авторы, публикующие «новосибирскую» позицию, усматривают в поведении алтайских ученых мотивы корысти или зависти.

межкультурных отношений. Результат этой «невстречи» – экокультурный кризис, острое противоречие между природными основами, прежде всего – североазиатским ландшафтом и цивилизационными основами, доминирующими в этом ландшафте уже несколько столетий.

Колонизатор Алёша Локальное сообщество постепенно вырастает в пространство и организует его как «частное» пространство памяти – делает уже собственное прошлое предметом исторической мифологии. Обособление своего, исключительного от «национального» и «государственного» происходит и как противопоставление и как подчеркивание особой роли в общенациональном, государственном. В «старых» сибирских городах те фрагменты прошлого, которые становятся основой «градообразующей» мифологии и символическим капиталом города, свидетельством его особости, уникальности, предметом гордости горожан, как правило подчеркивают преемственную связь с культурными столицами империи и (или) особую роль в имперской истории. В иркутской мифологии основание художественной жизни и образования в городе приписывались двум семьям декабристов, то есть столичным аристократам, но аристократам опальным. В Кяхте подчеркивается, что она была единственным городом с самоуправлением и что уникальные богатства местного музея были якобы вывезены в Эрмитаж. В Олекминске родословная городской культуры велась и ведется от скопцов, живших там на поселении. В городах, которые были лаконично охарактеризованы Чеховым во время сахалинского путешествия, соответствующие строчки превращены в афоризмы и постоянно цитируются в Иркутске и Красноярске как бессрочное рекомендательное письмо, а в Тюмени и Томске чтобы подчеркнуть масштаб изменений, либо напротив – их отсутствие. Пиетет перед мимоходными замечаниями ироничного Антона Павловича никого не смущает – они из «большой» литературы.

Миф, особая значимость мест памяти компенсируют в гиперцентрализованной стране ощущение второсортности условий жизни, отдаленность от культурных и образовательных центров. Ощущение временности жизни “здесь”, куда тебя забросила судьба, вечно временный характер сибирской жизни, когда про-

странство воспринимается как не совсем родина, или родина не навсегда, поскольку большая жизнь, настоящая жизнь “в России”, на “большой земле”, “в райцентре”, “в Области”, “в городе”. Центр жизни все время где-то не там, где сибиряк живет. И проблема дефицита культурных ресурсов в централизованной стране усугубляется этим самоограничением людей, создающих городскую культурную среду.

Модернизация минувшего века – масштабная индустриализация, сопровождающая её миграция (как принудительная, так и добровольная), идеологическая власть – разделалась с тем опытом и той памятью, которые были выработаны и нажиты потомками пришедших из-за Урала людей, разрушила русскую сибирскую деревню и разбила культурные ядра сибирских столиц. Некоторые из этих городов, прежде всего те, которые стали пунктами Транссиба, пережили в 20 веке неорганичный рост населения и занимаемого пространства, причем миграционные приливы могли происходить столь часто, что ситуация аномии¹⁰ возобновлялась едва ли не для каждого поколения. Когда кризис советской идентичности в 70-80-х годах стал мощным импульсом обращения к прошлому, это обращение проходило как способ самозащиты культурного слоя, иногда с противопоставлением исторической памяти и модернизации. Другие города, выключенные из планов индустриализации, в том числе и некогда «передовые» (не только для Сибири, но и для России) Тобольск, Енисейск, Кяхта оказались отгесненными в провинцию «второго эшелона», стали «бесперспективными» и историческое значение города, культивирование его прошлого оставалось, если не единственным, то самым весомым ресурсом, позволявшим художественной и гуманитарной интеллигенции обнаруживать экзистенциальные смыслы своего профессионального выбора и компенсировать дефицит культурного капитала в городе, вольно или невольно избранным для жизни.

В постсоветскую эпоху своеобразие исторического города стало восприниматься как шанс вписаться в рыночные отношения. Историческое значение города, необычность его прошлого кажутся патриотам бесспорным ресурсом и это рождает

¹⁰ Аномия – «ситуация в обществе, характеризующаяся распадом норм, регулирующих социальное взаимодействие» (Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь /Пер. с англ. – Из-во Казанского университета, 1997, с. 7).

рискованные иллюзии: интерес внешнего мира к возрождению исторического величия воспринимается как аксиома. Это можно назвать «ловушкой своеобразия», поскольку именно культ этого своеобразия не позволяет сделать его фрагментом сегодняшнего дня, участником и ресурсом развития. Кроме того инновационный потенциал патриотов города, как и вообще его жителей, ограничен привычными жизненными ритмами, особенностями социального времени в провинции «второго эшелона».

В «молодых городах», то есть тех, которые возникли в послевоенный период модернизации Сибири, формирование символического капитала также начиналось с подчеркивания уникальности. Уникальность состояла в том, что новый город был «новым миром», формируемым людьми с ярко выраженной социальной мобильностью и социальной энергией. Чувство уникальности питалось также особыми отношениями с «большой землей» – «московская застройка», «проектировали ленинградские архитекторы», «московское снабжение», «рейсов в Москву больше, чем из областного центра», повышенное внимание государственных деятелей, литераторов, песенников, звезд эстрады, особая роль в экономике или обороноспособности страны (а в случае Академгородка – научной и общественной жизни). Культурное сообщество молодых городов таким образом в творении своей исторической мифологии вполне повторяло путь культурных столиц Сибири – апеллировало к имперским столицам, не принимая во внимание прошлое того пространства, где возникал город. Формирование пространства памяти в молодых городах всегда начиналось с культа исторического смысла стройки – памятных знаков, наименования улиц в честь первостроителей и первого руководителя градообразующего предприятия. Но первоначальная значимость этих мест памяти о историческом смысле стройки как оправдании жизненного выбора и жизненных лишений сохраняется не более, чем для двух поколений – приехавшего на стройку и первого выросшего в новом городе. Разрушение советской системы резко ускорило девальвацию этого символического капитала.

Перед городом Нижневартовском стоит памятник – то ли разведчику недр, то ли нефтянику, то ли колонизатору (разумеется, не народов, а дикой природы). Во всяком случае, в руках

у него явно геологический инструмент, а на голове защитная каска. Это сочетание – каски и оружия в руках позволило прозвать памятник Алешей по ассоциации с памятником русскому солдату в Болгарии, воспетому в позднесоветское время, примерно в то же, когда вырос город вахтовиков-нефтедобытчиков Нижневартовск. Снижение идеологического смысла очевидно как очевидно и сохранение памятника в качестве достопримечательности города. Пафос преобразования «глухомани» остранин иронией и сам стал предметом памяти.



По мере формирования города, институционализации гуманитарной и художественной среды, пространство памяти начинает включать в себя значимые символы того пространства, где город возник, – и прежде всего те, которые говорят о связи с большой землей и большой историей. Так в Усть-Илимске первым монументальным памятником стал памятник Радищеву, сосланному в Илимский острог, месторасположение которого отнюдь не совпадает с координатами города, причем памятник имеет форму кандалов, что подчеркивает разницу между «старой» и «новой» Сибирью. В последние годы в лексикон публичной речи – названия газет, передач, мероприятий – включены упоминания об илимской пашне, которая была уничтожена исторической стройкой. В рекламные бренды стал включаться гидроним Илим, хотя Усть-Илимск значительно удален от этой реки и её устья. При этом акцентируется именно историческое значение Илимской пашни, уникальность этого сельскохозяйственного района, жизненного уклада и товарной продукции для Сибири и России в целом. Трансформации пространства памяти в молодых городах не отменяют определяющей ориентации на «большую» историю и нежелание вступать в диалог со «старой»

городской Сибири, принимать во внимание какой-либо исторический приоритет, права «старшинства» или претензии на лидерство в культурной жизни. В целом можно сказать о том, что встреча двух городских миров «русской Сибири» – их опытов, жизненных ритмов, памяти – также не состоялась.

Отдельная и большая тема – фантомная память о сибирской деревне и включение в пространство памяти темы трагедии русской сельской «Атлантиды» – процесс, который стал

в последний советский период основой для того, что можно назвать сибирским сопротивлением пафосу модернизации, а в постсоветской идейно-политической жизни – для конструирования традиции, истории, «государствообразующего» этноса. В рамках данного доклада отметим только, что такое конструирование также ориентировано не на память места, а апеллирует к пришедшим из-за Урала родовым или историческим (государственным, национальным, идейным) основаниям, относясь к Сибири как к пространству



их, этих оснований, особой судьбы. Причем данное конструирование проходит как экспансия в культурный мир «сибирских столиц», попытка распорядиться «коллективной памятью» и становится столкновением идеологии с космополитическим характером городской культуры, разрушительным для художественного и гуманитарного мира вторжением норм социального контроля, присущих общине, в образованную часть городского сообщества.

Фрагментарность пространства памяти – естественное её состояние, как естественно и сосуществование разных миров памяти в одном социальном пространстве. Но важно, какие тенденции преобладают в их сосуществовании – взаимное со-

гласование и расширение за счет друг друга или стремление к иерархии, настаивание на особых правах и приоритете. Сибирские процессы обнаруживают доминирование именно второй тенденции и это один из факторов, создающих почву для идеологической зависимости, а значит для утверждения идеократии. Идеократия оказывается инструментом, компенсирующим отсутствие налаженных отношений между социальными (культурными) мирами.

Глава 1. Имперская идентичность локального монументализма

Химера как символ российского могущества. В иркутской геральдике главная фигура – существо по имени Бабр – крупный представитель семейства кошачьих. Есть расхождения в том, кого именовали бабром, когда Иркутску был дарован герб: какую-то разновидность уссурийского тигра, затем истребленную, или тигров и барсов вместе взятых. В конце 17 века слова барс и тигр ещё не вошли в русский язык, а на старом городском гербе вполне наглядно изображен именно тигр. Через два столетия – в конце 19 века, когда в столице утверждали «правильные» гербы для городов и губерний необъятной империи, при описании иркутского герба БАбр превратился в БОбра. Не по той книжке уточнили правописание или не поняли в далеком от Азии Петербурге, о каком звере идет речь, теперь можно только гадать, но гусиное перо в имперской столице, исправив букву, предписало хищнику стать грызуном. Живо представляется, как иркутские чиновники восприняли предписание, но устранить недоразумение вряд ли кому-нибудь приходило в голову – «достучаться до небес» было немислимо. Бюрократические «небеса» были почти такими же многоэтажными, как теперь, а расстояния не позволяли питать иллюзий на обратную связь – в отличие от дня сегодняшнего. В Иркутске нашли нормальный бюрократический компромисс между волей начальства и здравым смыслом, пожертвовав последним: на гербе губернии мощного зверя лишили полос, пририсовали ему роскошный хвост, а задние лапы стали перепончатыми. Так Иркутску был подарен символ, смыслы которого неисчерпаемы. Метафора империи. И бессмысленной централизации, когда в центре «лучше знают». И чиновничьих правил игры – ухищренных и бесплодных, результатом которых может быть, разве что, химера. Впрочем, хотя иркутский бабр и нелеп с точки зрения зоологии, химерой его называть не хочется. Не из трепетного отношения к гербу, а потому, что бабр уникален в отличие от медведей, рыб и Победоносцев. Даже львы

на просторах российской геральдики не в диковинку. Благодаря уникальности, бабр стал для иркутян существом, можно сказать, домашним и его место, скорее, в добрых мультиках, чем в сагах о покорении Сибири во славу московской державы. Роскошный хвост и ласты на задних лапах позволяют не замечать хищной морды, которая, впрочем, на нынешних изображениях хищной не выглядит, хотя по-прежнему в пасти у бабра придавленный соболь. Но ни в мультиках, ни в иркутских домах (если не считать популярного Интернет-портала «Бабр.ру»), редкий зверь пока своего места не нашел.

Официальное описание герба сегодня гласит: «В серебряном поле черный бабр с червлеными глазами, держащий в пасти червленого соболя». Отдельная занимательная история о том, как бабра повернули на гербе на 180 градусов, чтобы символ российского могущества бежал в геральдически правильном направлении. На гербе и флаге Иркутской области бабр несет соболя – символ сибирского богатства – в западную сторону. На гербе и флаге города Иркутска он, по-прежнему, бежит в направлении неверном с точки зрения геральдики и имперской географии.



Вопрос о том, в какую сторону бежать бабру, приобрел актуальность в 2007 году, когда на обсуждение был вынесен проект памятника бабру. Идея принадлежит скульптору Даши Намдакову и художнику Сергею Элюну. Для Иркутска ее реализация означала бы появление в городском пространстве скульптуры неведомого зверя из семейства кошачьих, вызывающей улыбки и вовлекающей детей в игру. Во всяком случае, так выглядел первоначальный замысел, но замысел и эскизы его воплоще-

ния должны пройти через инстанции, а инстанции стремятся прояснить все неведомое. На градостроительном совете мэрии в июне 2007 года дебатировался, например, вопрос: если установить скульптуру в сквере на центральной городской площади, как предложили авторы проекта, то к какой из администраций (к городской или областной) будет обращена морда зверя, а к какой задняя часть его гибкого и мощного тела. Авторы, будучи людьми не только талантливыми, но и терпеливыми к причудам административного мышления, предложили сделать скульптуру вращающейся. Детей и других неадминистративных людей это только порадовало бы, но люди административные предложили найти бабру другое место – подальше от администраций.

Казусы – и тот, который породил бабра, и те, которые сопровождают его сегодняшнюю жизнь – достаточно выразительно говорят как об устройстве страны в целом, так и о том, что символам трудно радовать людей, если между ними (символами и людьми) есть посредники, предписывающие, чему и как можно радоваться. Поэтому я и начал статью с истории бабра. Рассказать истории из жизни иркутских памятников – не самоцель. Вопросы, которые хочу исследовать: почему в городе Иркутске уличная скульптура до сих пор обречена на монументальность и почему жизнь большинства памятников почти такая же серая, как окраска тех зданий, обитатели которых всерьез озабочены, какой частью тела к ним повернулся бабр?

Под Шпилем. Летом 2003 года состоялось знаковое расставание города с советской эпохой – разобрали “шпиль”, визитную карточку Иркутска. Памятник со шпилем был дежурной заставкой на местных телеканалах, его фотография открывала любой сувенирный набор открыток и альбом о городе. Водрузили шпиль в начале шестидесятых на пьедестал, с которого на исходе Гражданской войны свергли императора Александра III. Пьедестал партийно-советская власть сохранила «в виду художественной ценности». До шестидесятых годов он стоял в парке, вход в который был платным – платили за танцы и за возможность прогулки по благоустроенной части берега Ангары. К шестидесятым замечательную решетку, окружавшую парк, сняли, как и другие заборы в центре города, парк превратился в набережную,

главное место гуляний, а постамент в «недопамятник». И символы монархии открылись в перспективе главной улицы города – с этим надо было что-то делать. Решение водрузить шпиль сняло эту головную боль и резко изменило статус памятника. Модифицированный монумент потеснил в наборе открыток прежние, вполне советские, визитки Иркутска – памятник Ленину и изящную конструкцию моста над могучей Ангарой.

Вопреки идеологии на памятнике оставался двуглавый орёл. Памятник был поставлен к приходу в край Транссибирской магистрали, а орел как почтальон для особо важных и срочных вестей принес в когтях указ о прокладке Великого сибирского железнодорожного пути. На открытки птица попадала только в профиль. Фотографы поступали как художник из восточной притчи. Изобразив в профиль своего одноглазого и однорукого владыку, тот сохранил как объективность, так и собственную жизнь. Фотографы жизнью, конечно, не рисковали, но ракурсы вынуждены были выбирать не только из эстетических соображений. Поэтому орел лишался на снимках второй головы и выглядел уже не гербом царской России, а красивой и мощной птицей, впрочем, вполне державной. Избегали на снимках также крупного плана, чтобы не акцентировать внимание на генерал-губернаторах Сперанском и Муравьеве-Амурском, бюсты которых установлены в нишах на южной и северной сторонах. Крупным планом снимали только западную грань постамента, откуда мужественно взирает атаман Ермак – это был второй стандартный ракурс для официальных фото. Народный герой годился и для монархического памятника и для советских открыток.

Монарший орёл вполне органично смотрелся у подножия советского шпиля – будто присел под скалой или на корабельной





сосне. А для атамана и государственных деятелей, увековеченных в пьедестале, шпиль был метафорой высоких дум, устремленных в геополитические небеса. Шпиль придал памятнику масштабности и современности. Впрочем, масштабность в шестидесятые годы и была современностью. Пафос индустриального преобразования Сибири воплотился тогда в гигантских плотинах, эстетике которых вполне соответствовал шпиль. «Бетонность» и масштабность, обретенные старым памятником, благодаря шпилю, были знаком поступи исторического прогресса, а это

было важно не только людям из органов власти, утвердившим проект, но и многим жителям Сибири, почувствовавшим благодаря газетам, телевидению, поэтам и композиторам, что живут в эпицентре исторических свершений.

Иркутский памятник – один из лучших имперских памятников в стране. Он более лаконичен, чем «тысячелетие России» в Новгороде или Екатерина Великая в Петербурге, и достаточно красноречив, чтобы явить богатство и многоликость имперской семантики.



Шпиль органично вписался в семантическое поле монумента, насыщенного смыслами, и удачно восполнил свергнутого с пьедестала императора, поскольку главные смыслы имперской истории – размах и свершения. Считалось даже, что проект предусматривал мраморную облицовку, а шпиль

остаётся «недостроен», поскольку то ли на плитку не осталось денег, то ли побоялись перегрузить гранитный пьедестал. Возможно, просто решили сэкономить – сооружение выглядело внушительным и без дополнительных затрат. Не слишком резал глаз даже диссонанс между темно-серым бетоном шпиля и красным гранитом пьедестала: на черно-белых фото он скрадывался, на цветных ретушировался, «вживую» воспринимался как временное недоразумение. Впрочем, и это в семантическом поле империи – любой диссонанс между замыслом и жизнью принимается как временный изъян, неизбежный при свершениях, главное – есть замысел и есть масштаб. Когда шпиль демонтировали в 2004 году и публика увидела, что он – польный, для многих горожан это оказалось сюрпризом.

Одна из иркутских газет сообщила 1 апреля 2008 года с первой полосы «Шпиль вернут на прежнее место». Первоапрельская выдумка журналистов стала, что редко бывает, реальным розыгрышем – новость перепечатавали и после «Дня смеха», был читательский резонанс. Мысль о возвращении монументу прежнего облика была принята близко к сердцу и с пониманием. Памятник со шпилем был любим, ему прощали разнородность в материале и награждали «домашними» прозвищами. За что? Во-первых, как визитка Иркутска он был непохож на визитки других городов. Во-вторых, органично соединял историю и современность, и этим был уникален. В-третьих, около него назначались свидания – деловые, романтические, традиционные и поэтому в личных историях, в повседневной жизни он значил не меньше, чем в исторической памяти. В-четвертых, при этом он не перестал быть историческим, не растерял исторические смыслы.

Можно назвать и в-пятых и в-шестых, но каждый аргумент будет подтверждать, что памятник стал чем-то значительно большим, чем памятник.

Иркутск – город имперский. Он был, де-факто, восточной столицей империи два столетия назад, а в середине двадцатого века оказался в эпицентре амбициозных проектов империи. Но в имперском существовании кроме амбиций и произвола власти, возникают и некоторые особенности характера подданных. Сочетание несвободы с просторами порождает стремление развернуться – поэтому так неустанно звучит ода вольности и в боль-

шой литературе, и в застольных песнях. Поэтому человеку греет сердце причастность к великим планам и ищет он в неосвоенных краях не только земных благ и самостоятельности, но и цель жизни, и предмет гордости. Иркутский шпиль воспевал просторы и покорение просторов одновременно, соединял державность и оду вольности, державную Россию – царскую и советскую – с «вольной Сибирью». И при этом не заострял внимание на подданстве.

Демонтировав шпиль летом 2004 года, на постамент вернули Александра Третьего – копию статуи, которая стояла до революции. Монумент остался символом свершений и вновь связал свершения с подданством. Тема свершений преобладает в спектре исторических смыслов, которыми наделяются места памяти в Сибири и свершения, как правило, призваны напоминать о подданстве, поскольку являются частью *большой истории*, а в России *большая история* неотрывна от верховной власти, которая собственно и полагает себя источником свершений.

Памятник, который не у нас. Все, кто учился в советской школе, знают, что “В человеке *всё* должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли” – эти слова за подписью «А.П. Чехов» висели либо в школьном коридоре, либо в кабинете литературы. Каждый иркутянин знает еще слова Антона Павловича о том, что Иркутск – лучший сибирский город, «превосходный город», «совсем интеллигентный», «совсем Европа». И в других городах, которые были лаконично охарактеризованы Чеховым во время сахалинского путешествия, соответствующие строчки превращены в афоризмы и постоянно цитируются. Кроме Иркутска повезло Красноярску – на берегах Енисея у столичного писателя было хорошее настроение, и он предсказал бурное будущее краю. До этого – в Тюмени и в Томске ирония не то, что изменяла Антону Павловичу, но превращалась в ядовитый сарказм. Тем не менее, и здесь великого писателя постоянно цитируют – подчеркивают масштаб произошедших изменений, либо, напротив – их отсутствие.

Фраза о прекрасном в человеке звучала как императив и вписывалась в школьное пространство рядом с “Моральным кодексом строителя коммунизма” – советская риторика воспитания «нового человека» законно выступала наследницей идеалов русской интеллигенции и великой литературы. Слова в цитате из че-

ховской пьесы «Дядя Ваня» незаметно поменялись местами. «В человеке должно быть всё прекрасно», – брюзжал подвыпивший доктор Астров, пытаясь уберечь себя от чар влюбленной в него дамы. «Всё должно» в кабинетах литературы прибавило категоричности – брюзжание сменилось на дидактическое предписание. Фразу переименовало советское (или учительское – в чем-то это синонимы) сознание и указание должно было, конечно, звучать из уст бесспорного классика, а не его противоречивого героя.

Замечание об интеллигентности Иркутска цитируется как бесспорное рекомендательное письмо – оно тоже из великой литературы. Чехов отнюдь не был певцом империи (*«всё просахалинено!»*), – бросил он с каторжного острова по поводу увиденной им по пути на остров страны). Для иркутян или красноярцев, как принимавших его в 1890 году, так и цитирующих его на туристических сайтах через 120 лет, он – не тридцатилетний путешественник, имеющий как и все право на выражение впечатлений, а человек с «большой земли», поддержавший чувство причастности к ней, автор необходимой оценки «свыше».

К 400-летию Томска скульптор Леонтий Усов изваял памятник «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика лежащего в канаве и ни разу не читавшего Каштанки» и этот Чехов изрядно помогает томичам и приезжим «выдавливает из себя по каплям раба». В сегодняшнем Иркутске подобный памятник представить невозможно: живые отношения с памятью придавлены монументами, знаки причастности к «большой истории» не столько связывают с ней, сколько напоминают «причастны!». Пространство коллективной памяти пропитано «в нагрузку» к истории риторикой воспитания, а потому Антон Павлович отдельно, а мужики, да и Каштанки отдельно. Впрочем, в Иркутске нет никакого памятника Чехову, и даже возникли неясные проблемы с мемориальной доской.

Великая литература среди городских памятников представлена Горьким. Алексей Максимович не дошел и не доехал до Иркутска, но он приветил и поощрил «Базу курносых» – кружок иркутских пионеров, мечтавших стать писателями. Памятник Горькому – голова, водруженная на высокий граненый столб. Вскоре после открытия появилось и прозвище – «мужик на палочке», поскольку

ку Алексей Максимович возвышается над иркутянами и гостями города как школьный курс литературы над учениками.

Единственный из иркутян, вошедших в великую русскую литературу, кто удостоился памятника – Александр Вампилов. И это первый памятник в городе, герой которого не возвышается, если не придираться. Конечно, он не в потоке студентов, как народный художник Андрей Поздеев в Красноярске, и не присел на скамейку на тротуаре, как увлеченная поэзией девушка в Омске, а стоит на невысоком пьедестале, изображающем байкальский берег. Недалеко от ботинка задумчивого драматурга раковина. Символизирует ли она что-нибудь – например, чуткий слух Вампилова – или просто украшает берег, не понятно. Однако, эта деталь памятника вызвала больше всего разговоров – на берег Байкала раковину можно только привезти с морского берега, но зачем это знать московскому скульптору в его мастерской, где заказ превращается в художественный образ. Знавшие Александра Вампилова ворчали также, что изображен он в пиджаке и галстуке. В жизни Вампилов редко надевал то и другое – разве что, на премьеру. Но «в человеке всё должно быть прекрасно», а в стране организованной вертикально, памятник должен воспитывать, даже если возвышается он над прохожими всего на две-три головы.

Для семантики иркутских памятников вертикальная организация страны – пока еще более мощный фактор, чем логика городской повседневности. Хотя иногда среда «затягивает» Вампилова – рядом в сквере отдыхают студенческие компании – иногда в сумерках можно разглядеть граненый стакан в бронзовых пальцах, а поутру чью-то кепку, прикрывающую бронзовые кудри. Иногда этот сквер называют «у Сани», что



тоже логично – Вампилова его товарищи называли Саней и при жизни и в воспоминаниях.

Памятник, подобный томскому Антону Павловичу, в Иркутске пока представить невозможно. Никак не вписывается подобное в контекст, созданный монументами, расставленными по городу как дидактические фигуры. Малая уличная скульптура создала бы новый контекст и для монументов – памятники были бы ближе к живой памяти как элементы среды, то есть повседневной жизни. Пока же в Иркутске любая попытка разнообразить уличный ландшафт может вызвать идейные подозрения.

Битва с драконом. Дракон – не памятник. Дракон – «монументально-декоративное оформление города, элемент городского дизайна». Оформили драконом сквер на углу Горького и Сухе-Батора летом 2006 года. Воинствующие патриоты назвали его в своей газете «безобразным железным чудищем». Мне кажется, что это от воинственности – дракон не безобразен, хотя довольно нелеп в архитектурной среде конца 19 века. Может, эта нелепость и привлекает к нему туристов и других приезжих – постоянно на фоне дракона выстраиваются малые и большие группы для фотографирования. Подозреваю, что приземлился дракон не на своем месте по стечению обстоятельств – сквер, ближайший к центральной площади, явно пустовал и надо было его как-то благоустроить. Воинствующие патриоты рассмотрели как одну из версий рекламный ход владельцев японского ресторана, как другую – осторожно, но всерьез – инициативу мэра, родившегося в год Дракона.



Прирученный туристами дракон, вообще, очень взволновал воинствующих патриотов. Статья по поводу дракона в газете «Русский восток» называлась «Сатана здесь правит бал? Православные возмущены!». Оценим тактичность вопросительного знака. Вопрос не риторический, он оставляет еще шансы исправиться. Один рецепт для исправления вполне банален – «демонтировать изваяние», другой рецепт изумительно изобретателен – над драконом «должна быть установлена скульптура Святого Великомученика и Победоносца ГЕОРГИЯ, пронзающего врага рода человеческого копьем». Тогда мэрия во главе с мэром докажут, что они не покровительствуют сатанистам. Ход мысли впечатляет, но он вполне иркутский: памятник служит идеологии, иначе зачем он нужен, этот памятник. И те памятники, которые не служат идеологии, они идеологически чужды.

Без шпилья. Вернемся к главному иркутскому памятнику. В вертикально выстроенной стране всегда что-то должно быть главным. Император вернулся и с ним, казалось бы, вернулся первоначальный замысел скульптора и заказчика – «распалась связь времен» и восстановилась.

Памятник в течение века менял не только облик, но имена. Последние сорок лет его называли в обиходе «шпилем», а более официально «памятник первопроходцам». Оба имени стали неуместными и с названием возникла проблема – его еще предстоит обрести, когда возникнет определенность смыслов, исчезнувшая при смене стройного обелиска, пустота которого не замечалась, на грузную императорскую фигуру.

Если сибиряков объявить нацией, то для пьедестала под императорскими сапогами избраны три национальных сибирских героя: Ермак, Сперан-



ский, Муравьев-Амурский. Атаман Ермак возглавлял казаков в дерзком и успешном нападении на ставку сибирского татарского ханства. С этой битвы принято отсчитывать «освоение Сибири», несмотря на то, что первый острог за Уралом через четыре года поставили уже совсем другие люди, а поселения промышленников и купцов с русского Севера возникли на сибирских реках до битвы Ермака с Кучумом.

Михаил Сперанский – первый из сибирских губернаторов приехал хоть ненадолго жить в Сибирь, точнее, внимательно проехал по главным сибирским городам, чтобы уяснить положение вещей. «Положение вещей» с управлением сибирскими городами и землями оказалось в состоянии плачевном: всех томских чиновников следовало отдать под суд, а красноярских – повесить. Так во всяком случае Сперанский писал, пока не доехал до Иркутска. Иркутский произвол оказался самым сильным и действенным впечатлением. В нашем городе Сперанский понял, что единственная возможность спасти Сибирь для империи – выстроить четкую «вертикаль власти» (пользуясь термином нынешнего российского чиновничества) и предложил ряд радикальных реформ, которые должны были сделать управление более эффективным. Если поставить фантазию на службу городскому патриотизму, то можно доказать, что из этих предложений вырос через несколько лет проект «николаевская Россия», а в начале нынешнего века путинские административные реформы. Впервые в России главной задачей либерала и реформатора оказалось, как это потом происходило и с другими российскими либералами – спасти империю.

Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев дипломатическими средствами расширил пятно России на карте гораздо больше, чем удавалось кому-либо из российских полководцев, и получил в благодарность за это титул графа Амурского, а империя продолжила неудержимо наращиваться, не успевая обустроить те земли за Уралом, которые уже накрывала своей властью.



В каждом из трех мужественных лиц, удостоенных украшать пьедестал, две ипостаси – национальных сибирских героев и слуг государевых. Но памятник, установленный в монархической России, и памятник, восстановленный в России постсоветской – разные памятники, даже если нынешний – копия прежнего. Ермака, Сперанского и Муравьева уже невозможно воспринимать как слуг государевых, удостоенных украшать пьедестал императора – они уже были свершителями и геополитиками на том, присоветском памятнике. Их символический капитал, пользуясь лексикой социологов, явно значительней, чем у монарха. Кроме прочего, они – «свои», а Александр Третий и в Сибири никогда не бывал¹¹. Поэтому «памятник царю» слышится как ироничное снижение. Памятник императору? С какой стати?! Памятник империи? Безусловно. Но если памятник империи и имперской политике, то другой вариант названия – «Благодарная Сибирь» – выложенный крупно на постаменте звучит еще более иронично. Во всяком случае, рождает вопрос, а от какой именно Сибири вынесена благодарность. И могут ли слуги государевы быть национальными героями Сибири, стоит ли называть сибирских героев государевыми слугами?

Самое точное сегодня именование памятника – простая констатация, что сооружен он в честь прокладки Транссиба. Ермак

¹¹ В рифму к дебатам, упомянутым в прологе («к кому бабр головой, а к кому...») – в начале 20 века тоже разгорелись дебаты о том, куда должно быть обращено лицо императора. К городу или, напротив, к воплощенному замыслу, т.е. к железной дороге? Решили установить взором к востоку, по ходу движения поезда из столицы.

и Муравьев – законные соавторы Транссиба, поскольку Транссиб был проложен в той же логике продвижения на Восток, в которой они действовали – он привязывал уже занятые земли и обеспечивал доступ к богатству новых. И Сперанский на месте, поскольку Транссиб обеспечивает «вертикаль власти» в огромной стране¹². Транссиб – самый мощный экономический фактор, определяющий сибирскую жизнь и, во многом, развитие России. Будучи позвоночником индустриализации и урбанизации Сибири, транссибирская магистраль не стала основой для органичной интенсивной модернизации. Иначе говоря, логика продвижения на Восток не сменилась логикой налаживания жизни.

Памятник остается главным иркутским памятником – городская идентичность остается идентичностью имперской. Полвека назад она выражалась в причастности к свершениям русско-советской империи, сейчас в ощущении провинциальной столицы, судьба которой зависит от высочайших решений и от места на редких дорогах огромной страны.

Дебатов по поводу восстановления дореволюционного памятника в Иркутске не было, но пока помнится советский шпиль, их противопоставление делает памятник живым местом памяти. В этом противопоставлении воплощено противоречивое положение Сибири как части империи: она неотъемлема от России, но обречена на периферийность. Поэтому так значимы места памяти о том, что история империи без нас не обойдется.

Будет ли памятник живым, когда забудется шпиль? Предвидеть невозможно, но он достаточно богат, чтобы обрастать мифами, смыслами и именами. Останется ли он визитной карточкой Иркутска? Сказать трудно – Иркутск на развилке, изменения неминуемы и они происходят. Если вместо императора, придавшего художественно ценный постамент, визитной карточкой города станет какой-то иной памятник, то это будет знаком изменения в судьбе города.

На улице имени французского революционера Марата рядом с одним из зданий городской администрации установлен бетон-

¹² Неслучайно именно борьба за Транссиб стала мощным импульсом для Гражданской войны, а исход этой борьбы был во многом решен контролем за Транссибом. Все утопические проекты переноса столицы также выбирают между городами на Великом сибирском пути. Самый утопичный из них – сделать столицей отрезок Транссиба, или распределив центральную власть по нескольким городам, или рассадив по специально оборудованным экспрессам – выглядит и самым логичным.

ный стенд. Когда в здании помещался райком КПСС и другие руководящие организации на стенд вешали портреты выдающихся людей района. Юбилейным для города летом 2011 года на стенде можно было увидеть баннер со строчкой из неофициального гимна «Любимый Иркутск – середина земли». Иркутск представлен памятником, о котором идет речь – он в центре композиции, тремя православными соборами и бывшим зданием общественного собрания, в котором сейчас располагается театр имени Вампилова. Почти уваровская триада «Православие. Самодержавие. Народность». Впрочем, *народность* может презентовать соседним баннером, на котором изображены шедевры деревянной архитектуры. Люди ни в одной из этих композиций практически незаметны.



Бронзовый гость. В постсоветское время в Иркутске появилось несколько монументов, но только один из них претендовал стать лицом города – памятник Александру Колчаку. В отличие от Александра Третьего он здесь бывал – венчался и сделал доклад для членов географического общества. Свершились два этих события, когда Колчак, вернувшись из полярной экспедиции, отправлялся в Порт-Артур воевать с Японией, потому что был он как исследователем, так и военным моряком. Но памятник поставлен не флотоводцу и не ученому, а Колчаку как персонажу Гражданской войны. Именно как низложенный и арестованный верховный правитель России Александр Колчак был в 1920 году

доставлен в иркутскую тюрьму, где его допрашивали, приговорили и расстреляли.

Началась реабилитация Колчака в Иркутске еще в девяностых, причем от телесного к эмоциональному: сначала появилась марка пива «Адмирал Колчак», а в 1998 году в Иркутском драмтеатре поставили спектакль «Звезда Адмирала». Автор пьесы дополнил реабилитационный пакет альбомом романсов, в которых рифмовались любовь и кровь. Следующим этапом должен был стать рациональный – аргументы «за» и «против», обсуждение «роли», «места», «вынужденных действий», «характерных позиций» и так далее – в общем, весь репертуар тем, которые входят в понятие дискуссии об истории. Но институт общественной дискуссии в городе, как и в стране в целом неразвит, и любая подобная проблема вызывает, скорее, полемику, чем обсуждение аргументов. Poleмика, как правило, замыкается в Интернет-пространстве, напоминает ритуальное сбрасывание негативных эмоций, интересующее только участников и, конечно, не ведёт ни к новому знанию, ни к поискам консенсуса. А обсуждение за пределами сообщества форум-активистов в нынешних условиях возникает редко и требует гораздо больше времени, чем во времена доминирования бумажных СМИ. Вероятно, поэтому инициаторы установки памятника Колчаку решительно действовали, а не говорили. Памятник как печать на резолюции, что обратной дороги нет – общественная реабилитация заактивирована. И не только самого Колчака, но и белого движения.

Для внешнего наблюдателя всё произошло неожиданно и стремительно – возражения публиковались и произносились, но скорее вдогонку событиям. Памятник городу был навязан в 2004 году – к 130-летию героя. Инициаторы поставили горожан и власть перед фактом: было объявлено, что памятник создан, что известный скульптор его дарит городу и что установлен памятник будет на частной земле – на автостоянке перед огромным строительным супермаркетом. Городские власти явно занервничали: до этого они игнорировали действия адмиралофилов, но когда под монумент был уже подготовлен фундамент, вмешались – достаточно жестко, с участием милиции, однако, и с намерением вопрос решать быстро, пока не мобилизовались принципиальные противники увековечивания «верховного». И из всего те-

матического репертуара на официальное обсуждение общественности был вынесен только вопрос о месте, но не месте адмирала в истории Гражданской войны, Сибири, Иркутска, а о месте размещения памятника. В теленовостях сообщили, что «место для памятника выбрали после обсуждения с общественностью города». Главной общественностью оказались Валентин Григорьевич Распутин и архиепископ Вадим. Именно они высказались за то, чтобы памятник Колчаку стоял у Знаменского монастыря.

« Я за то, чтобы поставить там, где он был убит, – возле церкви, и церковь могла бы взять его под свою защиту»¹³, – говорит писатель Валентин Распутин» («Вести-Иркутск», 13 октября 2004 года).

Собственно, это был один из вариантов, предложенных городской Думой, но мнение писателя и иерарха убедило скульптора Вячеслава Клыкова, сначала категорически возражавшего из всех предложенных вариантов именно против этого. Выбор, действительно, наиболее удачный и с точки зрения городской среды (в ней доминирует монастырь), и с точки зрения истории. Монастырь находится недалеко от того места, где по обиходной версии было спущено под лед тело расстрелянного адмирала. И монумент становится памятником на несуществующей могиле.



¹³ Высказывание содержит явное противоречие, но, возможно, идея была пояснена в контексте, из которого репортеры взяли короткую фразу.

Колчак стоит над схваткой красноармейца и солдата то ли «белой», то ли царской армии – братоубийственной схваткой, поскольку выглядят воины как близнецы из крестьян, одетые в разное обмундирование. И это «над схваткой» – совершенно очевидное смещение смыслов по сравнению со всем тем, что мы знаем о «верховном правителе».

Автор был не только известным скульптором, но также главой Всероссийского соборного движения и председателем Союза русского народа. Сам он так формулировал идею, подвигнувшую его не только извять адмирала, но и подарить творение городу, в котором Александр Колчак был расстрелян:

«он знал, что правда у тех, кто защищает старую Россию. И сегодня, спустя почти 80 лет, мы можем сказать, что правда была за теми, кто защищал старую Россию» («Вести-Иркутск», 9.09.2004г.)

В стремлении формировать новый состав пантеона взамен советского совпадают представления и интересы «русской партии» и «партии власти» (как бы она не называлась – речь не об оформленных политических организациях). Державность для нынешних российских политиков – не только (и не столько) символ веры, сколько, ценность, которая, по их мнению, помогает человеку, пережившему системный кризис страны, выйти из личного кризиса идентичности. В таком инструменталистском аспекте рассматриваются государственная и политическая символика, церковь и, конечно, коллективная память.

Следующим актом стало увековечение имени Колчака на здании областного краеведческого музея. Здание в мавританском стиле, построенное в конце 19 века для Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, опоясано фризом, который оформлен как тридцать табличек. В восемнадцать из них вписаны имена работавших в Иркутске знаменитых исследователей Сибири и сопредельных пространств – двенадцать к новоселью в 1883 году и еще шесть к полувековому юбилею отдела в 1901 году. Оставшиеся двенадцать табличек прошли через весь двадцатый век незаполненными. Фриз не тронули в советское время, хотя дискуссия о том, что правильнее – сохранить перечень, оставшийся с дореволюционных времен, или дополнить его – возникла в начале шестидесятых в связи с именем

Владимира Обручева. Приняли решение и впредь таблички не заполнять, а в память об Обручеве укрепили на здании мемориальную доску. Создали прецедент, однако, несмотря на поводы – юбилеи и кончины знаменитых ученых, работавших в здании ВСРГО – «украшать» архитектурный шедевр как кремлевскую стену мемориальными досками мешало уважение к одному из самых красивых зданий города. Наверное, лучше все-таки в таблички, как замыслили архитектор и заказчики здания. Хотя и представлять все тридцать табличек заполненными не хочется: в многоточии больше жизненной энергии, чем в жирной точке. И не хочется думать, какая борьба развернется вокруг заполнения табличек, когда пустых останется совсем мало, но догадываться можно. В 2005 году стали обсуждать, а не продолжить ли мартиролог в камне. Не могу утверждать, что причиной стало имя Колчака, но он был сразу назван среди тех, кто достоин, а за прошедшие пять лет оказался единственной утвержденной кандидатурой. Назывались имена Петра Кропоткина и Григория Потанина, антрополога Михаила Герасимова и археолога Алексея Окладникова, исследователей Байкала Михаила Кожова и Григория Галазия, но, видимо, они не оказались бесспорными в ситуации, когда претендентов много, а число мест ограничено. О том, что имя Колчака будет нанесено на здание музея, решение «по просьбе общественности» в феврале 2007 года принял тогдашний губернатор области, который на церемонии «нанесения имени» произнес речь о духовной преемственности. «Представители общественности», пришедшие на церемонию стояли под монархическими знаменами.

Итак, годы идут, но другие имена не удостоены встать рядом с полярным исследователем Александром Колчаком, оказавшимся еще и одним из символов Гражданской войны. И пока другие имена не появятся, имя Колчака останется исключением – с 1901 года. А пока его имя останется исключением, в надписи будет звучать идейная интонация – и для тех, кто стоит непосредственно или мысленно под монархическими знаменами, и для тех, кто слово колчаковщина пишет без кавычек.



История с памятником Колчаку и «нанесением имени» – сплетение двух процессов: деколонизации и деидеологизации городского пространства. Сама установка памятника – казалось бы, акт деколонизации, поскольку весь процесс не только инициирован группой горожан, но и определялся в конце концов их волей и настойчивостью. Однако, целью их настойчивых действий была установка отчетливого идеологического знака и знак, конечно же, метит пространство города из «большой истории», из набора имен и событий, которые придают значение городу как месту в империи.

История событий и имен – «большая история» уже утратила ту власть над сознанием людей, которая позволяла ей заполнять память. Большая история распадается – её пытаются удержать, но прочную конструкцию, канонизируя Колчака или уничтожая декабристов, не создать. И только отказавшись от намерений оперативно её собрать, перестав лихорадочно заменять живую память идеологическими протезами, можно избавиться от синдрома идеократии – непременно кого-то канонизировать, а кого-то уничтожать.

Концептуальное яйцо

«- Вы знаете, что сегодня с памятника на улице Канадзавы кто-то стащил яйцо?! – позвонили вчера вечером в редакцию

встревоженные иркутяне. – И кому это оно понадобилось... И вправду интересно – кому?»

(КП-Байкал <http://kp.ru/daily/column/646/> — 29.03.2008)

«В мэрии областного центра заявили, что памятник не стоит на балансе городских властей, а находится в ведении общества русско-японской дружбы. Власти Иркутска отвечали лишь за уборку прилегающей территории, а также ежегодно накануне Пасхи обрабатывали яйцо воском во избежание его окрашивания, так как у иркутян появилась традиция красить памятник перед церковным праздником». (Regnum.ru 28.03.08)

«Сейчас на месте, где лежало гранитное яйцо, кто-то разбил натуральные яйца, что вызвало негодование и одновременно любопытство у горожан. Возле памятника собираются люди и обсуждают это событие».

(Интерфакс-Сибирь 28.03.08)

На монументе есть поясняющая надпись, что памятник отдает должное японцам из города Судзуки, которые во главе с Дай-кокуя Кодая оставили след в русско-японских связях. Речь идет о японских моряках, которых в 1783 году после восьмимесячного дрейфа на судне, потерявшем в шторм управление, занесло в места промысла Русско-Американской компании. Их высадка на Алеутских островах оказалось окончанием лишь первой главы десятилетнего эпоса. Они вынуждены были следовать в Иркутск как губернскую столицу и из тех, кто выжил на многолетнем пути, двое вынуждены были в Иркутске и доживать без надежды увидеть родину, а трое, благодаря геополитическим планам Екатерины Второй, вернулись в Японию. Для чего, впрочем, Кодая понадобилось добираться до Царского Села и добиваться аудиенции у императрицы. Выразительная и печальная быль о том, как упраздняется человеческая жизнь в абсурде абсолютной власти. И о том, как человек может повлиять на отношения между империями, если одна из них его родина и он всеми силами стремится вернуться. И еще много о чем. В этой истории драматизма и приключений не меньше, чем в «Одиссее», или, например, в истории командора Николая Резанова, воспетого поэмой Вознесенского и спектаклем театра им. Ленинского комсомола.

В Красноярске два надгробных памятника Николаю Резанову на предполагаемых местах захоронения плюс экспозиция в

каюте парохода-музея «Святитель Николай», на котором Владимир Ульянов плыл по Енисею в ссылку. В экспозиции есть даже подлинное платье актрисы, исполнявшей роль Кончиты, возлюбленной командора в спектакле Ленкома «Юнона и Авось». В Иркутске о том, что за история вызвала сентиментальные чувства японцев к нашему городу, знают только единицы. В Японии одиссея их соотечественников стала широко известна, благодаря роману Ясуси Иноуэ «Сны о России» (издан на русском в 1980 году), а затем одноименному фильму, снятому в конце восьмидесятых годов. Через несколько лет город Судзуки и преподнес Иркутску проект памятника русско-японской дружбе.

Памятник установили в 1994 году на улице Канадзавы. Собственно, это не улица, а переулок, который до революции назывался Пирожковским, а в советское время Банковским. В 1983 году его переименовали в честь японской префектуры, установившей еще в 60-х годах побратимские связи с Иркутском, и для солидности назвали улицей.



Монумент по проекту архитектора Мимура представляет собой «симметричные половинки», которые «олицетворяют два национальных начала, рядом с которыми покоится яйцо – зародыш нового будущего и новых возможностей в сотрудничестве». «Симметричные половинки» – это вытянутая трапеция, разрезанная по вертикальной оси, в которой сделан вырез в форме яйца. Само яйцо, как бы выпавшее из бетонной трапеции на постамент, гранитное. У «зародыша нового» поперечный диаметр около метра и весит зародыш 600 кг. Памятник не напоминает

ни о морях, ни хотя бы о корабле. К давней драматической истории отсылает только текст. Если и имеет отношение к снам,

то разве что к эротическим. Иначе говоря, это монумент концептуалистский. И в Иркутске он такой единственный. И игры вокруг монумента тоже концептуалистские.

Семь лет подряд накануне пасхи каменное яйцо раскрашивали, что расценивалось как хулиганство и вандализм. А собкор одной из общероссийских газет предположил и политический протест – против претензий Японии на Курилы. Краску выжигали паяльными лампами, а затем покрывали защитным слоем, для чего растапливали свечи. Мартовской ночью 2008 года яйцо откатали в сторону, посеяв слух о похищении. Поскольку с первой же пасхальной покраски одна из версий о том, кому это понадобилось, указывала на художников (вторая – «мартовские игры студентов»), то похищение яйца тут же было оценено как эстетический жест: его делают «передвижным».

Называя статью, которая стала основой этой главы, «Имперский воск»¹⁴, я воспользовался расхожей ошибкой иркутских журналистов, сообщавших, что работники «Горзеленхоза» наносят последние годы воск на гранитное яйцо, чтобы защитить его от раскрашивания. Но сами работники уточняют, что наносят парафин. Они же весной 2008 года закрепили яйцо на металлическом стержне, предохранив от подвижных игр неизвестных концептуалистов. Игры, безусловно, на грани фола. Но они напоминают о том, что город – место жизни, а не только пространство, где расставляют идеологические знаки с дидактическими функциями. Поэтому такая игра много симпатичнее монументальных идейных игр с монументальной скульптурой. В городе, семантическое поле которого прочно удерживается имперскими знаками, любые игры с любыми знаками оказываются на грани фола.

Прыжок бабра. Место эпилога. В 1985 году в центре Иркутска обозначили место будущего памятника декабристам, установив камень с соответствующей надписью. Был даже проект монументальной скульптурной группы, но он вызвал резкие возражения – шла уже эпоха гласности и перестройки. Провели конкурс и организовали в музее выставку лучших проектов, собирая отзывы посетителей. Затем стало не до памятников. Когда Иркутск вдруг снова озабочился монументальной скульптурой, несколько раз предлагались различные памятники в тот сквер

¹⁴ Рожанский М. «Имперский воск. Семь историй из жизни иркутских памятников/ «Неприкосновенный запас» 2010, №2(70)

напротив Крестовоздвиженской церкви, в котором и сейчас стоит памятный камень. Даже реплик о том, что место занято не звучало – видимо, чтобы не будить лиха. Попытка увековечить память о декабристах вблизи церкви стало бы мощным поводом для очередной идеологической кампании «русской партии», которая в Иркутске с середины 80-х годов осуществляла себя, прежде всего, иницилируя идеологические атаки¹⁵. И «русская партия», исповедующая клерикализм и монархизм – единственная идейно-политическая группа, которая актуализирует тему декабристов: декабристы удобны в качестве образа врага. Батюшка в селе Урик настаивал, что надгробному памятнику государственного преступника Никиты Муравьева не место в ограде православного храма, газета «Православное Забайкалье» напоминает о масонстве (а, значит, враждебности России и истинной вере) декабристов, иркутская националистическая газета предлагает версию «декабристы – агенты Британии».

В 2005 году иркутские СМИ опубликовали новость о том, что Зураб Церетели создал памятник декабристам. Новость подавалась в интонации гражданских опасений («не хотят ли навязать Иркутску?!»), однако, скульптор дезавуировал новость и при этом был явно раздражен, видимо, расслышав эти опасения в вопросе журналистов. Но вскоре пришло время вспомнить о грядущем юбилее города. В 2011 году 350 лет, как по общепринятой дате казаки и служилые люди поставили острог на том месте, где затем вырос город. В связи с этим неизбежно возник вопрос о новых памятниках и, значит, о том, чтобы выполнить обещание двадцатилетней давности, которое поторопились занести в каменные скрижали. И весной 2008 года сразу несколько иркутских СМИ высказали предложение по установке монумента Церетели именно в Иркутске. Мысль об усечении темы декабристов до добровольной ссылки женщин казалась уже счастливой – подвиг «декабристок» стал удобным поводом избежать дискуссий о самих мятежниках и их сибирской судьбе. Но и для памяти о подвиге женщин, описанном Некрасовым как следование христианскому долгу, стали искать другое место – не напротив церкви. Что-то не срослось с проектом Церетели – видимо,

¹⁵ Рожанский М. Фантом национальной империи. «Русская партия» в Иркутске//Байкальская Сибирь: из чего складывается стабильность. – М.;Иркутск: Нагалис, 2005, сс. 222-248.

режим экономии в условиях кризиса, а, возможно, внушительная композиция уже кому-то обещана. Во всяком случае, его даже не было на конкурсе проектов. Из представленных был принят памятник Марии Волконской. Одиночная фигура обойдется дешевле, чем скульптурные группы, предложенные в других проектах. Злоязыкие иркутяне уже обозвали будущее изваяние «памятником жене неизвестного декабриста». По финансовым же соображениям мэрия решила, что идею увековечить память о землепроходцах и основателях Иркутска воплотит памятник Якову Похабову, хотя в предварительных дискуссиях говорили лишь о собирательном образе – слишком красноречиво прозвище атамана. Оба победивших проекта выполнены в той же московской мастерской, что и Александр Вампилов с ракушкой, и в той же эстетике шахматных фигур. Так что совсем скоро атаман с воинственным выражением лица, романтическая барышня с подсвечником поддержат ту интонацию, которую внес в мир иркутских монументов драматург в мятом пиджаке, и можно будет говорить уже о тенденции – стилистической, не семантической. Можно быть уверенным, что новые памятники станут объектами иронии и что в отличие от реального Александра Вампилова или от томского памятника Антону Павловичу Чехову они не способны быть её, иронии, субъектами. Иначе говоря, частью городской среды они станут, а её участниками нет.



Послесловие. Сентябрь 2013 года.

Гранитное яйцо на Пасху 2010 года опять концептуализировали: не то, чтобы выкрасили, но щедро облили охрой. Либо напомнили сказку о курочке Рябе и золотом яйце, которое «били, били – не разбили», либо намекнули, что гранитное яйцо может стать золотым для тех, кто борется за его неприкосновенность. Газеты и телеканалы происшествия на сей раз не заметили – видимо, возмущенные граждане уже не звонят. Да и, честно говоря, позолота приятнее глазу, чем тот нездоровый серожелтоватый цвет, который яйцо приобрело в результате периодической обработки паяльной лампой и парафином. Еще радуется, что в арт-хулиганстве никто уже не усматривает протеста против иркутско-японской дружбы или иной идеологической подоплеки. Хотя самих маляров отсутствие переполоха, видимо, огорчило – концептуальные покраски концептуального яйца прекратились.

Имя Колчака на фризе краеведческого музея так и осталось единственным дополнением с 1901 года. Никаких дебатов по поводу других кандидатур на увековечивание за это время не развернулось – во всяком случае, в публичном пространстве. Так что человек, не посвященный в историю списка, вправе считать, что адмирал был включен в ряд знаменитых ученых еще до революции. А на памятнике адмиралу уже явные следы старения. Не исключено, что это – результат спешки, в которой его устанавливали. Главное – идеологический жест сделан.

К юбилею (350 лет Иркутску отмечали в сентябре 2011 года) поставили целую серию знаковых памятников, из которых наиболее заметным стал памятник основателям города. Как и предполагалось, и в СМИ и в повседневном обиходе его именуют памятником Похабову (кроме плоховоспитанных горожан, прозвавших его мгновенно «лешим»). Казак с решительным видом то ли вскарабкался на берег, то ли десантировался с небес и готов атаковать город. Заметен он, поскольку взрезал линию горизонта, встав пограничным столбом между городом и рекой. Памятник жене декабриста (разумеется, в обиходе тоже с именем – «Мария Волконская») менее заметен, благодаря выбору места. Установили его в скверике напротив автовокзала – то ли встречать, то ли провожать жителей области. Зато памятный камень, обещавший четверть века памятник декабристам, уступил место бабру – не

работы Намдакова, другому. Как, кем и почему был отвергнут эскиз Намдакова – тема отдельная. Напомню только, что изначально предложение скульптора и его иркутских товарищей исходило из намерения «поправить акценты» в семантическом поле города. Изваяние геральдического зверя работы иркутских авторов, победивших на конкурсе (конкурс был объявлен после того, как Намдакова «исключили из игры») – вполне монументально и выглядит как еще одно (может, менее тактичное, чем прежние, даже избыточное) имперское послание. Не будем вдаваться в полемику, вспыхнувшую после установки скульптуры, и обсуждать её эстетическую ценность, просто констатируем: зверь внушительный (3,65 на 4 м), добытого соболя придушил намертво. Какой-либо иронии скульптура фантомного хищника лишена даже при дневном свете – скорее, натуралистична, а в вечерних красках выглядит агрессивным сторожем. Установлен Бабр на стрелке перед «сто тридцатым кварталом» – главным градостроительным проектом, осуществленным к юбилею Иркутска, так что функции сторожевого зверя возникают в восприятии еще и благодаря контексту. Выбор места для геральдической метафоры совершился непросто, был достаточно долгим. Место должно было, по мнению тех, кто пытался повлиять на выбор, соответствовать значению герба как государственного символа города. В высказывания звучали и дидактические мотивы, даже указание на адресную группу воспитания¹⁶.

Принятый вариант следует признать средним по степени монументальности, зато радикальным по полемичности. Среди полемичных моментов¹⁷ в этом решении многие прочитали и жест

¹⁶ «Мне кажется, символика Иркутской области должна быть в районе резиденции губернатора и администраций органов власти, то есть в районе сквера Кирова, – говорит председатель Законодательного собрания Иркутской области Людмила Берлина. – Ведь место установки бабра должно отвечать задачам пропаганды государственности, повышения ответственности чиновников, которые работают в этих зданиях, чтобы они понимали, что трудятся во благо Иркутской области и населения региона. Это символика чести, достоинства людей, которые служат государству» («СМ номер один», 2012, 5 октября – <http://www.baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=article&id=12877>).

¹⁷ Категорические возражения авторов проекта «сто тридцатого квартала» были проигнорированы, коллективное письмо ряда авторитетных горожан и общества охраны памятников истории и культуры, напомнившее властям о том, что на месте установки скульптуры когда-то было лютеранское кладбище, на котором захоронен первый иркутский губернатор, даже не обсуждалось.

в отношении декабристов: камень, обещавший памятник сосланным мятежникам, был отправлен на склад.

Дракон был демонтирован (тоже к осени 2012 года), а на его месте обустроен сквер имени Юрия Ножикова и в сквере установлен памятник первому постсоветскому (и первому избранному гражданами) губернатору области. Демонтаж Дракона вызвал не слишком напористые, но достаточно отчетливые протесты – к инсталляции, имевшей временный статус и не имевшей дидактических и мемориальных функций, оказывается, успели привыкнуть.

За эти годы город щедро обогатил себя уличной скульптурой. Есть явно удачные произведения – некоторые широко признаны и зажили своей жизнью (как «Турист» на углу улиц Карла Маркса и Литвинова), а некоторые, к сожалению, не очень заметны, но их уже немало и это тенденция, благодаря которой можно надеяться, что мой очерк устареет. Но пока имперская семантика и дидактика, по-прежнему, доминируют в городском пространстве. И новые истории с уличными скульптурами подтверждают это. На пешеходной торговой улице Урицкого была установлена к юбилею одна из самых изящных и самая интерактивная по замыслу работа – «Виолончель». Это изваяние инструмента без музыканта. Виолончелистом может представить себя каждый, присев и взявшись за инструмент. Вернее, мог представить. Кто-то отломал смычок. Автор восстановил скульптуру. После чего отломали и смычок и деку. Интерактивность не приживается в городе – пока только в жанре сфотографироваться с «Туристом» или «Геодезистами». И особенно выразительна история со скульптурной композицией в память Леонида Гайдая. Сначала, был красивый градостроительный замысел – создать на левом берегу Ангары, в районе, где вырос Леонид Гайдай, новое публичное пространство – аллею имени Гайдая¹⁸. Идея красивая потому, что, во-первых, район беден не только на скульптурные произведения и декоративные решения – там почти нет «оформленных» публичных пространств. А, во-вторых, аллея Гайдая – проект с перспективой. Персонажи его комедий – разнохарактерные и общеизвестные, это еще и любимые советские актеры. Потенциал иронии и узнаваемости таков, что аллея могла стать уникаль-

¹⁸ См., например: <http://pressa.irk.ru/friday/2007/40/011001.html>

ным пространством как для горожан, так и для приезжих. И при этом не в городском центре, который перенасыщен туристическими объектами. Но, видимо, идея бульвара – слишком долговременная, и в 2012 году, одновременно с установкой Бабра, на площади Труда, в центре Иркутска была установлена скульптурная композиция из пяти фигур – сидящего Гайдая, пса Барбоса с динамитом в зубах и «гайдаевской троицы» (Моргунов, Видин Никулин) напротив режиссера в мизансцене из «Кавказской пленницы» (Бывалый, Трус и Балбес «живой цепью» перекрывают дорогу). Ирония, заложенная автором в композицию, пропала вместе с расположением фигур – созерцатель может находиться только между ними, не воспринимая композицию как целое. Да и размер фигур таков, что не очень понятно, что это – интерактивная инсталляция или оригинальный монументальный памятник. И вскоре после установки композиции и её торжественного открытия по иркутскому телевидению прозвучала надежда «на благоразумие и воспитанность иркутян и гостей города» по отношению к композиции. Благоразумие требовалось, прежде всего, по отношению к скульптуре, изображающей Леонида Иосифовича – люди взяли за моду фотографироваться на коленях режиссера, а дети по ним лазить. Оказывается, скульптура от этого может разрушиться – уличная скульптура, которая по замыслу властей, должна стать одной из визитных карточек города и приметой его уникальности, на активную жизнь не рассчитана. Поэтому, если дидактики нет в фигуре, она неизбежно возникает в отношении к ней.

Добавлю, что главный иркутский памятник обрел общепризнанное имя. Когда назначают встречу на площади возле него, говорят: «У царя».

Глава вторая. Деколонизация городского пространства: топонимия

Импульсом для обращения к понятию деколонизации стало исследование вопроса о том, почему радикальный пересмотр советских мифов мало затронул микротопонимию (годонимы) в «старых» сибирских городах. В молодых городах, возникших в советское время, где соответствующие топонимы не просто доминируют, а зачастую не предполагают альтернатив, значимых дискуссий по этому поводу не зафиксировано. Городская идентичность сочетает в мифе о рождении образ эпохи, которой город обязан возникновением, и локальную историю «великой стройки», нового города. В этом случае город находит в советском топонимическом репертуаре адекватное выражение. В старых городах дискуссии возникают: преобладание советских годонимов здесь не выражает, а подавляет городскую идентичность, заполняя, прежде всего, исторические центры, в которых тотальные переименования были произведены в начале двадцатых годов. И, тем не менее, за двадцать постсоветских лет десоветизация городской топонимии в старых сибирских городах – не правило, а исключение, хотя вопрос радикально ставился уже в период кризиса советской исторической мифологии. Дискуссии не приводят к принципиальным решениям, более того – они и не предлагают каких-либо новых решений, ограничивая спор рамками проблемы десоветизации. Цель статьи – предложить иную оптику, рассмотреть проблему в рамках понимания истории России как процесса внутренней колонизации, обозначить перспективы и риски ее решения с позиций деколонизации.

Идеократия: проекция на плоскость. Странники сохранения советской топонимии как историко-культурного наследия убеждены, что «возвращение имен» – изъятие из исторической памяти целой эпохи, иными словами, отождествляют советское топонимическое наследие с памятью об эпохе. Странники упразднения советской топонимии, тотального возвращения к дореволюционным названиям отождествляют его с памятью о режиме. Таким образом споры вокруг сюжета «менять нельзя

оставить» в пределах проблемы десоветизации – вопрос отношения советской топонимии к кластеру «память-государство» (если пользоваться терминологией Пьера Нора), или к местам памяти, запечатлевшим эпоху и представляющим её в истории города горожанам и приезжим (обозначим этот кластер как «память-эпоха»). Применительно к советской монументальной скульптуре на улицах и площадях городов пригодны обе формулы – памятники устанавливались не одновременно и в их наборе, сложившемся в том или ином городе, прослеживается так или иначе пунктир советской истории; памятники участвовали в создании визуального образа советской эпохи. Поскольку монументальная скульптура – память об истории советского государства, атаки против нее – либо стремление вычеркнуть из истории страны государственный режим, не имевший этноконфессиональной и династической легитимности, и заменить на другой идейно-символический ряд персонажей, либо желание упразднить засилье идейных символов в городском пространстве как активный рудимент идеократии. Это борьба за реидеологизацию/деидеологизацию городского пространства. Модель деидеологизации найдена: малая уличная скульптура как участник городской жизни, а не только объект созерцания. Модели реидеологизации также: восстановление дореволюционных монументов, установка новых. Два этих процесса пересекаются, ведут спор за пространство города в самом пространстве. Но находятся и компромиссные модели – например, создание парков снесенных советских памятников. Компромисс оказывается возможен, поскольку за монументами признается функция сохранения памяти об ушедшей эпохе – они напоминают об идейных символах, но им отведено скромное место в городе, они ограничены во влиянии на его облик и вместе с ними из среды изъята эпоха, агрессивная или, как минимум, бесцеремонная по отношению к среде.

С советской топонимией сложнее. Советские названия не создают семантического богатства – в них мало советской истории. Советская топонимия в городах формировалась несколькими волнами – первая волна, самая значительная, в начале 1920-х годов была намеренно тенденциозной, несколько последующих лишь корректировали вычеркиваниями (особенно, в конце 1930-х и конце 1950-х) и дополнениями меморативный список, соз-

данный в начале двадцатых. Новые имена появлялись за редким исключением в новых районах.

В Иркутске советский порядок в топонимике был введен постановлением горисполкома от 5 ноября 1920 года. Были присвоены новые имена взамен исторически сложившихся 4 предместьям, 3 площадям, 2 садам, 1 скверу, 59 улицам и переулкам¹⁹. Подход, который определял репертуар новых топонимов, был аналогичен тому, который сформулирован в протоколе заседания президиума Енисейского губисполкома от 21 февраля 1921 года: «переименовать в 3-х дневный срок в революционном духе все улицы г. Красноярска»²⁰. Предельно сжатые сроки и тотальность процедуры переименования означали радикальное противопоставление новой топонимии старой. «Революционный дух» – идеологический характер новых названий, они должны быть знаками большой Истории, соответствующими революционному мировоззрению.

Репертуар названий создает впечатление случайного в пределах ограниченного выбора. Например, трудно понять, как формировался ряд, представляющий художественную культуру. В постановлении 5 ноября 1920 г. было три писательских фамилии: Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Горький. Никто из них в Иркутске не бывал и произведений об Иркутске не писал²¹. Или, например, в иркутской топонимии сразу двум объектам – улице и предместью – было присвоено имя Марата, в Омске из деятелей Французской революции также отмечен только Марат (но единожды), а в Красноярске кроме Марата был увековечен Робеспьер. В Иркутске появились улицы Фурье и Лассалья, в Красноярске улица Бебеля, в Томске и Тюмени закрепили память о Сакко и Ванцетти, никак не отмеченных в топонимии Иркутска, Красноярска, Омска. В Омске, Иркутске и Томске вспомнили Степана Разина, но ни в одном городе инициаторы переименований не сочли нужным присваивать какой-либо улице имя Емельяна Пугачева. Не всякое имя годилось, был риск, что присвоенное имя окажется «неправильным» – страна собиралась

¹⁹ Полный текст постановления публикуется как приложение к данной главе.

²⁰ Копия фрагмента протокола размещена: [http://www.krasplace.ru/starje-i-sovremennye-nazvaniya-ulic-krasnoyarska](http://www.krasplace.ru/starye-i-sovremennye-nazvaniya-ulic-krasnoyarska)

²¹ Салтыков-Щедрин использовал иркутские летописи среди других как источник для «Истории одного города» (но об этом не могли знать авторы Постановления, принятого 5 ноября 1920 года).

под единым властным центром. Представители новой власти «на местах» репертуаром имен и понятий утверждали историческую легитимность своей власти и её монополию на официальную номинацию. В остальном репертуар был достаточно случайным. Семантика ограничивалась горизонтом революционного мировоззрения – она могла быть выразительной, но неизбежно монотипической. Этот стиль, соответствующий «революционному духу», можно определить как «стиль большой Истории»: герои, события, идеологические понятия. Он обеспечивал преобладание имен, связанных с революцией и войной, над остальными – например, из мира искусства и литературы.

Почему тех, кто раздавал имена, не устраивало то или иное старое название, рассматривать не имеет исследовательского смысла. Не устраивало уже то, что названия старые. Не только названия, которые в постреволюционной России приобрели идейную нагрузку, как например, Казарминская или Графо-Кутайсовская, но и идеологически нейтральные Луговая или переулок Театральный не сохранялись. Любое безыдейное название могло звучать идеологически чуждым. Среди новых названий в Иркутске можно зачислить в «безыдейные» только Детский парк и улицу Детскую, но и то с оговорками, поскольку забота о детях была заявлена советской властью как идеологическая позиция (прилагательное «детский» появилось и в топонимии других городов). При переименовании стигму ущербности приобрело не только прошлое, стигматизировалась и повседневность. Переименованием подчеркивалось, что она подлежит коренному изменению, как нечто, неподчиненное идее, как чужой, вредный, опасный мир. Смена имен была не только учреждением мест памяти. Прежде всего, она была утверждением нового мира – повседневность наделялась правильными идейными смыслами. Так утверждалась идеократия – власть, действующая от имени идеологии и утверждающая исторические смыслы как санкцию своих действий.

Безоговорочное отнесение советской микротопонимии к исторической памяти игнорирует несколько существенных обстоятельств. Во-первых, советская топонимия доминирует в исторических центрах, сложившихся до советской эпохи, и, благодаря этому доминированию, противостоит истории города. Во-вторых, имена улиц, которые казалось бы, должны настойчиво

напоминать о советской эпохе, не реконструируют её, а вырывают из исторического процесса. Лишенные контекста, они не провоцируют эмоционального отношения к себе, лишённые объёмности – познавательного отношения. Тотальность советского переименования радикально оборвала связь времен: отменила право досоветского прошлого быть настоящим, придала ему статус неподлинного, ущербного, но советскую топонимию наделила большой степенью условности, неукорененности в повседневности и/или в истории. В случае «возвращения имен» будет упразднена стилистика «революционного духа», точнее, знаки, оставленные им, но ведь и сам «революционный дух» иссяк в этих именах, поскольку не находился в диалоге с чем-либо не-революционным.

Пьер Нора выделяет три формы памяти, превалировавших в разные периоды истории: «память-архив», «память-долг» и «память-дистанция» (освещение прерывности, взгляд из настоящего на прошлое)²². К каждой из этих форм, по сути, и апеллируют сторонники сохранения советской топонимии, хотя сам топонимический репертуар способен выполнять лишь функцию архива и то не полноценно. Для того, чтобы выполнять функцию долга перед прошлым или помогать осмыслению прошлого из настоящего, топонимия оказывается недостаточно живой.

Сведение топонимии к архиву – расплата за идеократию, за дистанцирование от локального пространства человеческой жизни и от повседневности, за дидактику по отношению к прошлому.

Имперская амнезия. Объясняя привычку к советским топонимам, важно помнить, что у подавляющего большинства людей, живущих в больших сибирских городах (и в Иркутске, в том числе), история семьи связана с городом исключительно в советский период. Но степень близости-неблизости пространства – насколько человек готов принимать его как «свое» – определяется не только стажем жизни в данном городе. И здесь мы сталкиваемся с социокультурными явлениями, хронологически не вписывающимися в советскую историю. Проблемы отношений между человеком и пространством являются как следствием российской истории, так и одним из определяющих её факторов.

²² см. Нора П. и др. Франция-Память. СПб: изд-во СПбГУ, 1999. С. 35

Его невозможно игнорировать, анализируя, в том числе, причины возникновения, принятия и ограниченности того, что называют теперь «советским проектом». Речь о тех особенностях отношения к миру, которые присущи участнику экстенсивного развития этноса. Советский проект был решительным разрывом с прошлым, а подобные рывки в истории России, желание «начать всё сначала» понятно и близко людям, самим начинающим жизнь заново на новом месте. Можно отнести насаждение беспамятства на совесть новых революционных властей. Но культурная амнезия – не умысел большевиков, а почва как для рождения их идей и стремлений, так и для их восприятия. Обычай «начать всё сначала» – это и безразличие человека к прошлому того места, на которое он пришел, чтобы его преобразовать и/или в нем укрыться, но это и разрыв с прошлым и с тем местом, откуда ушел, сбежал, был изгнан. Здесь серьезные основания для того, чтобы после мировой и гражданской войн идеократия была не только насаждена, а востребована как средство поддержания имперской (ставшей «советской») идентичности. Идеи, от имени которых осуществлялась власть, оформляли чувство причастности к стране, к государству, к истории, к некоей большой общности, когда разрушены и находятся под подозрением все общности «малые» – от семьи до этноса. А поскольку идеократия, таким образом, оформляла новый виток внутренней колонизации страны, то в неё органично вписывался и большой «сибирский миф», рожденный предыдущими веками «русской Сибири».

Человек, живущий в Сибири, видит в качестве собственного прошлого «большую историю». Вот её несущие конструкты:

а) пафос свершений – вместе с Русью за Урал пришло могущество;

б) в Сибирь шли или попадали лучшие – самые отважные, стойкие;

в) жизнь в Сибири формировала лучшие человеческие качества;

г) сибирский человек приходил на выручку стране, когда нужны были стойкость, выдержка, решительность.

Исторический образ Сибири и сибиряков предельно устойчив. Несмотря на противоречивость, он не предполагает оспаривания. Его устойчивость обеспечена воспроизводством вышеу-

казанных несущих конструкторов, человек привязан к мифологии, которая придает особую значимость его переходу или переходу его предков в сибирскую жизнь. Мифология государства, узурпирующего заслугу сохранения единства этого пространства, также принимается человеком с сибирской идентичностью, поскольку мифология перехода (который часто был бегством от государства) и мифология настигнувшего тебя (твоих предков) государства находятся в органичном единстве – они наделяют друг друга значимостью.

Противоречия образа Сибири помогают сибирской идентичности пройти крутые повороты истории. Пазлы могут меняться – общая картинка при этом сохраняется благодаря уникальной оптике. И как бы радикально не менялись эпохи, она остается без изменений: взгляд из большой истории, привязанность к ней.

Доминирование большой истории в представлениях людей о прошлом – не только результат «исторического» образования, но и симптом отсутствия прочной связи человека с историей того места, в котором он живет. Нарушен баланс между временем и пространством, между памятью-державой и личной памятью, а большая история выполняет важную компенсаторную функцию. «Второсортность» жизни на периферии «большой» и «настоящей» компенсируется отдельными случаями причастности к этой жизни – к большой истории, литературе, политике и т.д. Выражение городской идентичности через принадлежность к большой истории приводит к тому, что городская идентичность презентует себя имперскими знаками. Особенно хорошо это видно на монументальной скульптуре, и Иркутск дает насыщенный образец такого семантического поля, причем, и в дореволюционных (в том числе восстановленных), и в советских, и в постсоветских памятниках²³. Имперский характер советской топонимии – и годонимы, и названия городов, поселков, имена, данные предприятням – менее выразителен, чем имперскость советской архитектуры или монументальной скульптуры. И не только в силу разных возможностей слова и пластики, но и благодаря слабой исторической динамике на протяжении советской истории. Имперский характер советской топонимии проявляется более всего в унифицированности – в том, что центральные улицы в городе

²³ См. главу первую «Имперская идентичность локального монументализма».

Иркутске носят те же имена, что и в станице Вешенской. И поскольку эта топонимия, благодаря советскому периоду, оторвана не только от истории и повседневности города, но и от его места в «большой истории», то в очень ограниченной степени претендует на выражение городской идентичности.

Псевдонимы колонизации. В больших сибирских городах установление (восстановление) советской власти в конце 1919 – начале 1920 годов так или иначе проходило с участием Красной Армии, продвигавшейся от Урала на восток и, как минимум, с участием армейских политработников советская власть становилась властью большевиков. Для нашей темы так же важно, что в органах новой власти руководящие посты занимали лидеры, занесенные в Сибирь ссылкой или революционными событиями.

Исследовать, как формировался список новых названий, не представляется возможным. Уже нельзя взять интервью у участников и свидетелей самого процесса принятия решения, а в имеющихся воспоминаниях это не зафиксировано. Новые топонимы практически не соотносились не только с историческими названиями, но и с историей города как таковой. Исключениями можно считать площадь Декабристов²⁴, улицу Декабрьских событий, названную так в память о боях декабря 1919 года, и пять улиц, получивших фамилии большевиков – героев и жертв двух революций и Гражданской войны в Иркутске и Сибири (Бабушкин, Боград, Лазо, Гусаров, Шевцов), всего семь топонимов из шестидесяти девяти. Не намного больше доля «местных» (даже относительно местных) имен в списках переименований, проведенных в начале двадцатых годов в других больших сибирских городах – Томске, Омске, Тюмени, Красноярске, Енисейске – или, например, в Уральске или Челябинске. Единственные отличия: в некоторых городах именами местных большевиков называли большие центральные улицы, что, впрочем, не спасло эти имена от забвения еще в советское время, несмотря на присутствие их в повседневной речи. Но чаще местными именами называли улицы более-менее периферийные, соблюдая субординацию по отношению к идеологам и вождям мировой революции. Очевидно, что

²⁴ Ссылные декабристы жили в Иркутске, хотя и не в районе данной площади.

историческая связь имени и места практически не принималась во внимание.

В феномене советского тотального переименования присутствовали еще и управленческие основания, санкционирующие тотальность – власть исполняла функцию упорядочивания, регламентации. И до этого власти вмешивались в топонимию. Обычно это был выбор между разными существующими версиями, чтобы наименовать улицу на плане города. Таким образом, топоним оформлялся документально, то есть регламент взаимодействовал со стихией повседневной речевой практики. Иркутский историк Р.В.Попова выделяет три этапа формирования топонимики в родном городе: «I этап – народный – от появления первых годонимов до 1870-х годов; II этап – народно-административный – от 1870-х до 1920 года; III этап – административный – после 1920 года»²⁵. Регулирование топонимики было назревшей административной задачей. В Барнауле, например, первые массовые переименования были проведены на рубеже веков. Точнее было бы определить процедуру, проделанную в сибирских городах примерно с конца 1919 года (Омск) до 1922-1923 годов, не как переименование, а как административное утверждение названий при игнорировании или идейной корректировке исторически сложившихся (Красноармейские вместо Солдатских, Красноказачья вместо Казачьей в Иркутске). Во всяком случае, если и требовалась замена табличек, то не в очень большом количестве – таблички только вводились в обиход. Но административная задача в условиях утверждения новой, идеологической власти, стала одновременно дидактической.

Формула «присвоение наименования» воспринимается на слух как плеоназм. Почему недостаточно одного отглагольного существительного «наименование», вносит ли дополнительные смыслы второе – «присвоение»²⁶? Имя не просто дается, оно присваивается объекту, делается акцент на факт распределения «сверху», награждения, отчисления. Этот акцент стал нормой именно в советской микропонимии и привел к доминированию годонимов в родительном падеже – улица (имени) Ленина, парк (имени) 26

²⁵ Попова Р.В. Годонимы Иркутска в пространстве городской культуры// «Тальцы», 2006, N2, сс. 48-53.

²⁶ Формула закрепилась в административной практике и сейчас является обычной – в названиях постановлений, комиссий, комплексных программ.

Бакинских Комиссаров, площадь (имени) Труда. Улица, площадь, парк, канал награждаются именем героя/героев, события, идеологического понятия. Герой, событие, символ награждаются улицей, площадью, переулком. Наименование улиц оказывается не просто функцией власти и её прерогативой, но еще и указанием на её исключительное право – не только на право называть, но и распределять почести. Утверждение этой прерогативы и её смыслов делает процедуру на/переименования недемократической: во-первых, упраздняется обычное право естественного формирования названия (через повседневные практики); во-вторых, власть берет на себя дидактические функции. Эта недемократичность в какой-то мере компенсируется «демократическими» процедурами: актами общественного волеизъявления («в связи с обращениями граждан», «по инициативе трудового коллектива» и т.п.), общественными дискуссиями о названиях (как правило, уже присвоенных), формированием комиссий по топонимике. В подобной «обратной связи» присутствует не только имитация демократии, но и реальная необходимость считаться с мнением горожан, поскольку решение власти вторгается в повседневные речевые практики и может оказаться отторгнутым и/или вызвать непредсказуемый идеологический эффект. Классический пример – опрометчивое переименование Невского проспекта и Дворцовой площади, проигнорированное речевой практикой (в устных воспоминаниях приводятся даже случаи демонстративного саботажа). Есть аналогичные примеры и в советском периоде истории Иркутска. И, конечно, наиболее острые случаи отторжения возникали, когда акт переименования воспринимался как колонизационный. В позднее советское время такой эффект вызвали переименования Ижевска в Устинов, Набережных Челнов в Брежнев. Как колониальные были заменены микротопонимы в городах бывших республик СССР. Но, по сути, в каждом случае, когда присваиваемые имена никак не связаны с местностью и её историей, акт наименования может быть оценен как колонизационный (без идейных коннотаций этого прилагательного).

Десоветизация: идеология и прагматика. В советское время значения, предписанные идеологией, занимались ироничными псевдонимами памятников и топонимов, анекдотами о событиях или канонизированных персонажах – можно отнести это к

пассивным формам сопротивления. Но это не сопротивление, направленное против какой-то конкретной идеологии, а сопротивление идеологизированности как таковой, в разной степени осознанное сопротивление идеократии. В период разрушения советского строя перспектива переименования казалась неизбежной – горожане не соглашались жить в мире, созданном идеологией, в дискуссиях об оценках революционного и советского прошлого одной из самых распространенных риторических фигур было возмущение фактом мемориализации того или иного персонажа в топонимии страны и/или города. Политика «возвращения имен» стала легитимной после переименования Ленинграда, санкционированного результатами референдума, и фронтального возвращения старых названий московским улицам и станциям метро²⁷. Радикальное переименование в столицах помогло избежать бесперспективных дискуссий вокруг каждого конкретного имени, но оно неизбежно несло идеологический смысл. И благодаря тотальности (полностью упраздняясь советский период в топонимии), и тому, что эти акции проходили на фоне переоценки советской истории, воспринимались как часть этой переоценки, а многими сторонниками и аргументировались соответствующим образом. Естественно, «возвращение имен» было воспринято как идеократическая практика, инициаторы радикального упразднения советской топонимии смотрели на неё через оптику, аналогичную той, которой пользовались творцы этой топонимии – оптику Истории с большой буквы. Акции по «восстановлению имен» в начале девяностых годов предстали идейным реваншем. Сопротивление этому объяснялось нежеланием следовать команде «поворот вдруг». Случай Иркутска – один из наиболее показательных: в период перестройки в городе бурлила публичная политическая деятельность и сохранение советской идеологической топонимии в городе нельзя объяснить политическими убеждениями горожан – результаты выборов в девяностые годы не свидетельствуют об особых симпатиях к коммунистической идеологии. Важно обратить внимание на то, что отсутствие спешных акций по переименованию было сопротивлением Центру, сигналам, идущим извне. Но сопротивление

²⁷ Заметим, что именно переименования в метрополитене для населения страны, которое ориентируется в Москве по схеме метро, заострило вопрос о целесообразности переименований – в метро надписи с бывшими названиями ясности не прибавят.

осталось рефлекторным, не привело к общественной дискуссии. Результатом стало фактическое блокирование решения проблемы засилья советской топонимии и сохранение идеократического наследства в неприкосновенном виде.

Индифферентность к идеологическим знакам, укоренившимся в городской среде, и даже к факту такой укорененности, достаточно характерна для сибирских городов, и пример Иркутска позволяет увидеть, что речь не идет об идеологической зависимости. За два десятилетия, прошедших с начала радикальной ревизии в массовом сознании советской истории, в Иркутске, как и в других городах с аналогичной топонимической судьбой, засилье советизмов не раз вызывало инициативы по «возвращению имен». Но тема оказывалась актуальной, в основном, для инициировавших её идейно-политических групп и историков, краеведов, лингвистов. Возникавшие дискуссии не шли дальше обозначения позиции. Так, в предвыборной борьбе 2003 года Союз правых сил в Иркутске попытался вынести вопрос о десоветизации топонимии в центр повестки дня, но эта инициатива лидеров партии не нашла понимания даже среди партийного актива. Представителям руководства партии, которые в своих выступлениях перед однопартийцами и сочувствующими в Иркутске на собраниях и конференциях делали акцент на вопросе о переименованиях, предъявляли обвинения, что они подменяют обсуждение реальных проблем, решений по которым не могут предложить, пустой риторикой. Акции протеста по поводу сохранения советской топонимии предприняли русские националисты, но и эти акции не стали массовыми. Не сформировалась, в свою очередь, и какая-либо общественная группа по защите от «переименований». В каждом из этих случаев дело не только в индифферентности иркутян по отношению к вопросу, а в том, что те, кто относится к проблеме не безразлично, не могут предложить решений.

Аргументацию отказа от переименований, которая формулируется в дебатах, трудно принять в качестве убедительного объяснения этой позиции. В опросе, проведенном ВЦИОМ в июле 2009 года «по общероссийской выборке», 33% опрошенных считают переименование недопустимым ни при каких обстоятельствах, а 27% нежелательным и допустимым «только при особых

на то причинах»²⁸. Из тех, кто считают переименование недопустимым, 16% отметили как значимый аргумент «большие затраты на переименование» и 14% апеллировали к исторической памяти и исторической правде²⁹. Опубликованное резюме исследования не дает возможности детально прояснить его процедуру и, соответственно, интерпретировать результаты, полученные в графах «затрудняюсь ответить», а именно эти данные могут быть наиболее значимы для исследования «топонимической апатии». Из тех, кто считает переименование недопустимым, 55% затруднились привести хотя бы один аргумент в обоснование своей позиции. И в то же время затруднились привести какой-либо довод 63% тех, кто считает переименование допустимым. Эти результаты (в которых затруднение с ответом, видимо, можно отождествить с отказом от развернутого ответа) позволяют, как минимум, подтвердить, что если противостоящие позиции в проблеме постсоветского переименования достаточно обеспечены сторонниками, то они недостаточно оснащены убедительной аргументацией и моделями практической реализации, чтобы мобилизовать сторонников на конструктивную дискуссию и результативные действия.

За двадцать лет «десоветизации» не появилось новых значимых аргументов. И не появилось именно потому, что вопрос остается в контексте десоветизации. Это закрепляет патовую ситуацию противостояния идеологических оценок. Хотя шахматная метафора не очень уместна, поскольку противостояние носит бескомпромиссный характер. В результате, как альтернатива идеологическим выдвигаются прагматические доводы, никак не отвечающие на идеологические вопросы, и таким образом переводящие проблему из режима бескомпромиссного противостояния в риторическое поле, где идеологические аргументы не имеют силы. Перспектив решения это не дает, но позволяет отло-

²⁸ Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах. См.: «Пресс-выпуск № 1280» ВЦИОМ. <http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=12212>

²⁹ Можно было назвать три аргумента в открытом вопросе. Формулировки, под которыми социологи сгруппировали приведенные аргументы: «требуется больших временных затрат» и «с уходом старых названий забывается, искажается история». Следом (по количеству назвавших) идут два прагматических аргумента «люди привыкли к существующим названиям» (6%) и «возникает путаница, неудобства для населения» – 4% из считающих переименование недопустимым.

жить действия, сопряженные с политическими рисками. Доводы идеологии и доводы прагматики лежат в разных сферах человеческой жизни. Тема де/советизации, апеллирование к исторической справедливости лежит в плоскости отношения человека с историей. Обращение к доводам прагматики (как экономической, так и социолингвистической) – в мире повседневности. Основной прагматический аргумент – «топонимы выполняют ориентирующие функции». Последовательный прагматический подход: «стабильно сохраняемое веками название вне зависимости от его типа становится ориентиром» – предполагает индифферентность к идеологическим смыслам³⁰. При этом в рамках прагматического подхода происходит выход на ключевой для рассмотрения проблем локальной топонимии контекст – особенности отношений между человеком и пространством его жизни. Однако если в этом контексте предлагаются проработанные решения по наименованию, лингвисты сталкиваются с невозможностью перевода этих решений на административный язык, который воспроизводит советские дидактические модели, хотя и без советской лексики. Выразительные примеры взаимного непонимания можно, например, увидеть в Великом Новгороде, где активная работа над городской топонимикой вскрывает и обостряет противоречия не между сторонниками и противниками переименований, а между лингвистами и чиновниками, участвующими в выработке решений по переименованиям³¹.

Проблема топонимии – сфера не только прагматики и идеологии, это проблема исторической памяти, которая не сводится к идейной борьбе. Кажется, что это очевидный (если не банальный) тезис, но он не стал инструментальным – именно потому, что остался в пределах дихотомии советское/досоветское и не вышел на проблематику деколонизации. Концепция «мест памяти» привлекает к ним внимание как к формам отношения человека с историей, но если мы хотим сделать её инструментальной, необходимо акцентировать и слово «место», то есть отношения человека с пространством. Собственно, превращение в «память-

³⁰ Рябова Л.Г. Имя улицы: прошлое и настоящее (из материала топонимов г.Иркутска) //Время в социальном, культурном и языковом измерении: Тез.докл.науч.конф. – Иркутск: Иркут. Ун-т, 2004, с.120

³¹ Новгородская ситуация интересна еще и потому, что в ней активно участвует ведущий специалист по топонимике профессор Т.В.Шмелева. См, например: <http://www.regnum.ru/news/1200129.html> <http://www.regnum.ru/news/1273726.html>

архив», когда «место памяти» не выполняет функций связи человека с прошлым (в лучшем случае – имитирует), и дает основание лингвистам, стоящим на принципиально прагматических позициях, игнорировать не только идеологические смыслы топонимов, но и их потенциал как «мест памяти». Возвращение имен – не возвращение прошлого, а возвращение топонимики к жизни. Бытие названий, ставших символами, непонятными большинству, «мертвыми», исключительно функционально. Как символы они мертвы или почти мертвы и всё, что им остается – функции ориентирования в пространстве.

Имитация исторической памяти – одна из несущих конструкций идеократии и одно из самых значимых ее наследий. Последовательный идеологический подход апеллирует к необходимости восстановления исторической памяти, но неизбежно остается в пределах борьбы за симулякры, поскольку топонимы не выполняют роли «мест памяти». Здесь иркутский пример также показателен. Городские власти позже, чем во многих других городах, пошли на размещение на нескольких улицах табличек с обозначением их досоветских названий. К этому решению администрация города была фактически принуждена настойчивыми акциями русских националистов, самостоятельно развешивавших самодельные таблички. В данном случае, инициаторы повторили модель демократии участия, опробованную ими при увековечивании памяти адмирала Колчака – в свое время власти были поставлены перед перспективой установки памятника на частном участке земли на территории города и вынуждены были сами выделить место, чтобы снизить идеологическое звучание акции. В результате увековечиванию памяти Колчака был придан официальный характер. В случае с дублированием топонимов администрация города пошла навстречу гораздо осторожнее и обеспечила табличками с дореволюционными названиями всего лишь несколько центральных улиц. Решение проблемы, таким образом, скорее, имитируется, понимают это инициаторы или нет. Во многих городах таблички висят уже не один год, но дальнейшие шаги – легитимация дореволюционного или выбор названия – за единичными исключениями, не сделаны. Националисты проводят свои протестные акции под лозунгом «Очистим Иркутск от польских повстанцев и красных мадьяр», адресуя

к соответствующим названиям улиц. Но если нынешняя улица Польских повстанцев носила ранее название Транспортной, а до советского переименования – Семинарской, то улица Красных Мадьяр носила до 1967 года название 2-й Советской, а до 1920 – Второй Иерусалимской. Ни то, ни другое название явно не устроят инициаторов переименования как не отвечающие «духу» их мировоззрения. Как быть с переименованием улицы Энгельса в Иркутске, которая до 1920 года была Жандармской? И стоит ли возвращать в Красноярске взамен уникального, хотя и не отвечающего законам топонимики, советского названия «улица Охраны Труда» название Верхнетюремная, хотя оно и отражает историю города и Сибири?

Дидактическая работа с «местами памяти» способна привлечь внимание к пересмотру истории, но не способна предложить решений, эмансипирующих историческую память от идеологии и, значит, национализирующих память (если следовать терминологии Пьера Нора). Если же говорить о поиске моделей конвенциональной работы с исторической памятью, то вектор такого поиска – преодоление дистанции между топонимией и горожанами, то есть деколонизация городского пространства. Этот вектор тоже не сулит очевидных решений – деколонизация не может быть осуществлена через простое возвращение имен или наделение всех улиц именами местных замечательных людей – но создает возможность для работы по национализации памяти.

Разгосударствление, национализация, деколонизация: развилки. Одномоментное переименование по принципу «возвращения имен», вычеркивание советского периода – безусловно, мощная актуализация местной истории. Но актуализация крайне избирательная – с утверждением мифа о дореволюционной истории города как его золотом веке. Подобные решения, упраздняющие советское топонимическое наследие, не совсем нейтральны по отношению к современному городскому пространству, их эффект – где-то в диапазоне между музеефикацией и историческим реваншем. Главные риски подобных решений – даже не одномоментных, но последовательно отдающих приоритет дореволюционным названиям – в том, что они оставляют тему городской топонимии под монополией политики памяти.

Принять точку зрения прагматиков в её радикальном варианте и рассматривать топонимы преимущественно как средство ориентации в городском пространстве – означает вывести проблему, если не за пределы «политики памяти», то на периферию её внимания. Преимущество такого решения в том, что оно органично для деидеологизации публичного пространства: идеологические смыслы имен со временем стираются, а музеефикация старых названий создает эффект остранения советских топонимов, замещает идеологический взгляд отстраненно историческим. У этого варианта есть свои риски и они связаны с тем, что всё равно вопрос о смене имен время от времени будет обостряться и давать пищу для идейных схваток. Но, во-первых, эти риски не больше тех, которые сопровождают любое переименование, а, во-вторых, трудно представить, чтобы их накал транслировался от поколения к поколению. Однако решение в этом духе – это отказ от одного из самых значительных ресурсов городской идентичности и её презентации.

Если «идеальный тип» города – самоорганизация горожан, живущих в рукотворном ландшафте, то преодоление моностилизма – условие возникновения города из поселения. Моностилизм в топонимии, навязанный советским администрированием – фактор, оттягивающий город в состояние поселения. Для человека традиционного общества – кочевника, землепашца, охотника – одушевлена природа, для горожанина – «вторая природа», среда, созданная человеком – если и не одушевлена, то, как минимум, вызывает эмоции, обсуждается, побуждает к активности словом и действием. Топонимия – часть этой «второй природы», среды обитания человека, созданной им самим. Если топонимия не выполняет функции коммеморации, то она не побуждает к диалогу, обедняет городскую среду и не участвует в складывании городского сообщества и в его воспроизводстве.

Топонимия актуализируется так или иначе как апелляция к городской идентичности и способ обращения к человеку. В рыночных условиях местный бизнес стал активно использовать топонимы, остраняя их в названиях кафе, ресторанов, магазинов. В разных городах этот слой «языка улиц» эксплуатирует разные эпохи. В Иркутске преобладает обращение к дореволюционным

именам³², в Красноярске в советских именах улиц выявляется семантика, которую не принимали во внимание ни в двадцатых годах, когда давались имена, ни в позднее советское время³³.

Пьер Нора обозначил цель коллективного труда «Франция-Память» как участие в национализации «мест памяти». В России слово «национализация» тянет за собой смыслы, в чем-то противоположные тем, что имел в виду французский историк, – устойчивые исторические аналогии связывают в нашей речи национализацию с монополией государственной власти на выражение национальных интересов. Мы могли бы использовать понятие «разгосударствление», чтобы говорить о процессе перехода права наделять места памяти смыслами от государства к гражданской нации (Нора пишет о решении именно этой задачи), и для нашей страны актуально именно это. Другое дело, что в современной России гражданское понимание нации (и нация в гражданском смысле) находится в процессе формирования, и работу с «местами памяти» – как исследовательскую, так и проектную – плодотворнее рассматривать как часть этого формирования и в его контексте, тогда разгосударствление предстает только одной из задач национализации. В решении этой задачи есть своя развилка, связанная с ловушкой десоветизации. Пока в отторжении советского на первом плане пересмотр идейных смыслов, а не преодоление безликости и унифицированности (в чем и увязла работа с топономией), первостепенное значение придается идеологической семантике, а не демократии участия и поиску её эффективных моделей.

Другая развилка национализации связана с тем, что формирование гражданской нации происходит на фоне сохранения (а часто – ренессанса) ее этнического понимания. Городская идентичность, выросшая в переселенческом обществе, ближе к гражданскому пониманию нации, нежели этническому. Старым сибирским городам в большой степени, а молодым – в доминирующей, присущ космополитический характер культуры. Как правило, на него весомо наслаивается советская унификация. Преодоление

³² «Салон на Пестеревской», «Тихвинское колесо», Русиновский рынок и т.п.

³³ Так на улице Парижской коммуны, которая в советское время в обиходе (в т.ч. на официальных табличках и в маршрутах городского транспорта) сократилась до «улица П.Коммуны», предприниматели активно эксплуатируют смыслы, ассоциирующиеся с Парижем, парижским, французским.

этой унификации идет достаточно активно через этнические и этноконфессиональные презентации культуры и истории – как в столицах национальных республик, так и в старых сибирских городах. Возникают противодействие разным этническим презентациям и сопротивление «этнизации» городской среды, культурной жизни.

Деколонизация и формирование гражданской нации тесно переплетены в феномене сибирской идентичности. Это идентичность территориальная, отвечающая гражданскому пониманию нации. Фиксация национальности «сибиряк» при переписи населения в 2010 году, интернет-кампания «Я-сибиряк» вызваны невозможностью и/или нежеланием определять себя в классификаторе этнического происхождения. Связано это и с городской идентичностью: сейчас «ядро» населения старых сибирских городов вновь составляют «коренные» горожане во втором-третьем поколении, а во многих молодых городах – первое поколение уроженцев города. Ситуация сходна с той, которая была в Сибири в середине XIX века – исторической паузе между большими волнами колонизации. Это был ключевой для сибирского самосознания период, породивший областничество как движение и как мировоззрение. Областники исповедовали ценности европейской культуры и, утверждая идею самобытности Сибири, исходили из того, что Сибирь не только колония России, но и фронт европейской цивилизации. В последние десятилетия развилка самобытность/универсализм актуализировалась, что имеет непосредственное отношение к проблеме городской топонимии и будет одной из основных, если начнется конвенциональная работа с топонимией. Когда кризис советской идентичности в 1970-1980-х годах стал мощным импульсом обращения к прошлому, это обращение проходило как способ самозащиты культурного слоя в сибирских столицах, иногда с противопоставлением исторической памяти и модернизации. Другие города, выключенные из планов индустриализации, в том числе и некогда «передовые» (не только для Сибири, но и для России, в целом) Тобольск, Енисейск, Кяхта оказались оттесненными в провинцию «второго эшелона». Когда эти города стали «бесперспективными», историческое значение города, культивирование его прошлого оставалось, если не единственным, то самым ве-

сомым ресурсом, позволявшим художественной и гуманитарной интеллигенции обнаруживать экзистенциальные смыслы своего профессионального выбора. Активная борьба за сохранение примет исторического своеобразия была и остается шансом компенсировать дефицит культурного капитала в городе, вольно или невольно избранного для жизни. В постсоветскую эпоху своеобразие исторического города стало восприниматься еще и как шанс вписаться в рыночные отношения. Историческое значение города, необычность его прошлого кажутся патриотам бесспорным ресурсом, что рождает рискованные иллюзии: интерес внешнего мира к возрождению исторического величия воспринимается как аксиома. Это можно назвать «ловушкой своеобразия», поскольку именно культ своеобразия не позволяет сделать его фрагментом сегодняшнего дня, участником и ресурсом развития. Ловушка ещё и потому, что инновационный потенциал патриотов города (как и вообще его жителей) ограничен привычными жизненными ритмами, особенностями социального времени в провинции «второго эшелона». Культ своеобразия – не само своеобразие, а именно его культ -оказывается помехой для открытости, и это сказывается на городской культуре в целом, которая может развиваться только в переплетении локального и всеобщего. Что касается топонимии, то советская унификация резко нарушила баланс в сторону универсума – обедненного, моностилистического «большого мира». Возвращение имен как радикальный принцип консервирует историческое «ядро» города, не организуя диалог, а противопоставляя одному стилю другой. Городская культура – диалог космоса и полиса, универсума и места. Работа над топонимией – это одна из тех сфер, в которых возможно искать баланс между «большим миром» и «самобытной историей», меру открытости и закрытости, что для города важно не только с точки зрения самочувствия гуманитариев, но и с точки зрения его, города, перспектив.



Приложение к главе «Деколонизация городского пространства: топонимия»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

Исполнительного комитета Иркутского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов от 5 ноября 1920 года.

В ознаменование 3-й годовщины Великой Октябрьской революции Исполнительный комитет постановляет:

Прежние наименования нижеуказанных предместий, площадей, улиц, садов и скверов упразднить и заменить их новыми.

Предместья:

Иннокентьевский поселок – поселок Ленина,

Глазковское – в предместье Свердлова,

Знаменское – в предместье Марата,

Вознесенское – в предместье Зиновьева.

Площади:

Тихвинскую – в площадь Ш-го Интернационала,

Ивановскую – в площадь Труда,

Успенскую – в площадь Декабристов.

Улицы:

Большую – в улицу Маркса,

Амурскую – в Ленина,

Верхне-Амурскую – в 25-го Октября,
Нижне-Амурскую – в 4-го Июля,
Шалашниковскую – в Октябрьской Революции,
Ланинскую – в Декабрьских Событий,
Тихвинскую – в Красной Звезды,
Ивановскую – в Пролетарскую,
Иерусалимские (10) – в Советские,
Солдатские (6) – в Красноармейские
Казарминскую – Красного Восстания
Саломатовскую – Карла Либкнехта,
Преображенскую – Тимирязева,
Графо-Кутайсовскую – Троцкого,
Баснинскую – Свердлова,
Харлампиевскую – Горького,
Почтамтскую – Стеньки Разина,
Луговую – Марата,
Пестеревскую – Урицкого,
Благовещенскую – Володарского,
Трапезниковскую – Желябова,
Медведниковскую – Халтурина
Главно-Иерусалимскую – Коммунаров,
Котельниковскую – Фурье,
Матрешинскую – Перовской,
Успенскую – Плеханова,
Театральный Кантонинский переулок – Коммунистический,
Жандармскую – Фридриха Энгельса,
Казачьи – Красно-Казачьи,
Спасо-Лютеранскую – Лассалья
Дворянскую – Рабочая,
Чудотворную – Бограда,
Толкучую – Гусарова,
Юнкерский переулок – в Красный,
Владимирский переулок – в Рабочий,
Зверевский переулок – в Бабушкина,
Пирожковский – Коммунальный,
Селивановский – Гершевича,
Адмиралтейскую улицу – Крестьянина,
Монастырскую – Сергея Лазо

Институтскую – Детская,
Дьячковскую – Щедрина,
Кравецкую – Глеба Успенского,
Покровскую – Шевцова.

Скверы и сады:

Александровский сквер – Парижской коммуны,
Интендантский сад – Розы Люксембург,
Сукачевский сад – Детский.

*Председатель А. Шнейдер,
Секретарь М. Бублеев*

Глава третья. Память города без прошлого.

Устная история ударных строек.

Фрагменты реконструкции. Вместо эпитафии.

«Рядом с палаткой стоял репродуктор. Утром в 6 часов он начинал: «Говорит Москва...». Мужики швыряли в него что-нибудь, он замолкал. Потом начинал хрюкать – в него опять что-нибудь швыряли. Днём его налаживали и наутро он опять «Говорит Москва..». И так каждый день..» (Клара Т.)

Палатка, в которой зимой 1955/56 года жила моя собеседница – стандартная армейская двадцатиместная. В таких жило большинство приехавших в первую зиму строительства Братской ГЭС. Обустройство и быт в этих стандартных палатках стандартными не были.

«Стали ставить палатку, а я говорю: «Ген, давай походим, может быть, где тут и есть место в старых». Он: «Ну чё, лучше давай в новой палатке, там и запах будет свежий и всё, а чё в старых палатках.» В общем, мы в несколько старых палаток зашли, а там уже знаете как: и прокурено и провонено. А в одну палатку зашли, там мужики жили одни, еще жены не приехали. А одна приехала. И приехала с двумя ребятами... Остальные ждали, когда приедут супруги ихние, молодые. И вот мы зашли в эту палатку, и я гляжу. Я сразу углядела: с одной стороны стоят лавочки и на них ведра с водой и бак с водой. А в другой стороне тоже такая клетушка, прям низко двери, там дровник. Днём натаскивают, чтобы ночью сжечь эти дрова. Я говорю «давай здесь остановимся» (Клара.Т.)

В палатке до осени, когда построили первые квартиры, жило пять семей, включая Клару с мужем: *«В двух противоположных углах печки. Между семьями дощатые перегородки, сверху занавесочками закрытые, чтобы не занозиться... Каждый день привозили машину дров. И за сутки её почти всю сжигали – буржуйка-то быстро прогорает».* Дров уходило так много еще и потому, что в палатке весь день кто-то из обитателей был – хотя бы молодая мама со своими двумя маленькими детьми.

А вот повседневность (точнее, еженощный быт) зимы 1955/56 года в такой же палатке, ставшей общежитием учителей:

«Жили все вместе. Сначала перегородки были, потом сломали, чтобы теплее было. А учитель химии-мужчина говорит Александре Ивановне (их кровати рядом стояли): давайте, – говорит, – каждый в своей кровати накроюсь сначала вашим одеялом, потом одеждой, потом моим одеялом. Иногда ветер страшный ночью – палатку раскачивает, печку раскачивает – искры на палатку падают, дырочки прожигает. Мне говорили: «Не мой волосы на ночь». Ну не могу же я так в школу пойти с головой немойтой. А кровати стояли вдоль стены. И у меня коса примерзла. Потом папа с мамой ко мне из Кяхты приехали – днем топить стали. Корреспонденты из «Комсомолки» приехали: как вы можете так в палатках? Живём, другого нет, пристраивались как-то».(Людмила З.)

Около этой палатки стоял энергопоезд, который *«тарактел страшным образом и ничего не слышно. Зато светло»*. Несмотря на шум энергопоезда, доносился и звук репродуктора, установленного рядом с палаткой на столбе. И *«когда в 6 утра радио начинало играть гимн, соседка по палатке (учительница физкультуры) поднимала всех. И мы все, стоя, пели гимн»* (Людмила З.)

Хочется добавить «и так каждый день», чтобы подчеркнуть переключку этого эпизода с рассказом Клары Т. о том, как из другой палатки в другой репродуктор швыряли что-нибудь тяжелое еще до того, как из него раздавался гимн³⁴. На большую стройку людей приводили разные жизненные траектории, мотивы приезда были различны, разными были и требования к быту и способность обустроить его. Различалось и отношение к идеологическому миру, в который стройка была погружена.

Данная статья является частью исследования ***советского идеализма, его природы и противоречий***³⁵. Молодые сибирские города – обязательное поле для исследований «советского» как

³⁴ Разницу между двумя этими картинками можно объяснить отчасти календарно: Клара Т. прибыла на стройку в конце декабря, а Людмила З. – к началу учебного года. Возможно, описанный ею внутренний ритуал за какой-то период времени изжил себя, но представить что-то подобное в «семейной палатке», где проживала Клара, невозможно.

³⁵ См. подробнее: Рожанский М. Дневник советской девушки//Интер, 2007, №4, сс.55-70; ; Рожанский М. Разномыслие в условиях добровольной несвободы: поколения советских идеалистов// Разномыслие в СССР и России (1945-2008)/под общей ред. Б.М.Фирсова.

личностного феномена, не сводимого к тотальному воздействию воспитания, изоляции от мира и к подавлению личности. Исследовательский фокус на *«эйфории коллективизма»* позволяет рассмотреть сложное переплетение индивидуального и коллективного, динамику коллективных ценностей и их отношений с ценностями официальными. Реконструкция социальных миров «ударных строек», молодых городов Сибири позволяет достаточно отчетливо увидеть, что коллективные ценности и правила советской жизни в значительной степени не совпадали с ценностями официальными даже в тех случаях, когда подобный коллективизм, естественно складывающийся из потребностей и действий людей, приветствовался и эксплуатировался. Более того, несоответствие, о котором идет речь, оказывается одним из факторов, разрушающих советскую систему. В конце пятидесятых-начале шестидесятых годов (период, о котором в основном идет речь в статье) до разрушения советского мира или «советской цивилизации» еще достаточно далеко, этот период можно назвать «золотым веком» советской истории, но именно поэтому исследование советского сознания в его противоречиях заставляет обращать особое внимание на этот период.

В коллективной научной работе «Социокультурный феномен шестидесятых», вышедшей в РГГУ³⁶, *«феномен шестидесятых»* исследован как кризис советского сознания. На титульном развороте фотография Юрия Гагарина, обложка оформлена фотопанорамой молодого сибирского города. Но статьи, составившие книгу, посвящены культурной жизни Москвы, Ленинграда, новосибирского Академгородка. Ударные стройки и молодые города – не просто часть социальной атмосферы шестидесятых, в молодых городах выявлялись существенные противоречия советского идеализма, идеалы сталкивались с идеократией. Но географическое ограничение как темы «шестидесятых», так и темы разрушения советского сознания «столицами» характерно для работ о поздней советской истории. А сибирские великие стройки служат, в основном, для иллюстрации исторического оптимизма «оттепели». Наиболее выпуклый пример – классическая книга

– СПб.: изд-во ЕУСПб, 2010, сс. 180-206; Рожанский М. Между настоящим и реальностью: оптика советского идеализма//Человек, 2010, №5, сс.47-57.

³⁶ Социокультурный феномен шестидесятых/Сост. В.И.Тюпа, О.В.Федунина. М.:РГГУ, 2008

П. Вайля и А.Гениса о мире советского человека шестидесятых годов. Идеал отождествляется с предписанной свыше идеологией, энтузиазм привычно связан с мечтой о коммунизме: «Не Братскую ГЭС строили молодые энтузиасты, а обещанный Лениным и Хрущевым коммунизм. До осуществления мечты оставался один шаг, полшага...»³⁷ Параграф о Сибири в книге «Мир советского человека» – всего лишь небольшое эссе. Представить советские шестидесятые без сибирских свершений невозможно, но тема при попытке рассмотреть её в динамике и в географии становится необъятной и единственной возможностью остается именно эссе, выстроенное на предельных обобщениях и ярких метафорах. Братская ГЭС послужила авторам такой метафорой.

Источники исследования, представленного в данной статье – прежде всего, биографические интервью, собранные в сибирских городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске в 1994-2006 гг., а также интервью, полученные в 2010-2011 годах в Байкальске и Северобайкальске.

Рождение Братска – это вторая половина 50-х годов – начало 60-х, Усть-Илимска – середина 60-х-начало 70-х (Усть-Илимск пережил и «второе рождение», строительство так называемого «нового города», но оно практически за рамками этой статьи). В статье особое внимание уделено первым годам строительства Братской ГЭС, поскольку начало строительства совпало со сменной эпох (в социально-политическом измерении – началом публичного отмежевания от репрессивных методов руководства) и стройка оказалась «переходной», если смотреть с исторической дистанции. Она была первой крупной стройкой без использования труда заключенных, если говорить о строительстве самой гидроэлектростанции. В отличие от «великих строек» тридцатых годов строительство Братской ГЭС не наделялось функциями «перековки» осужденных и воспитания, которое также понималось как «перековка» в человека советского. В книге Стивена Коткина (St.Kotkin) о Магнитогорске³⁸ речь об «ударном строительстве», управление которым осуществлялось как «красными директорами» и инженерами, так и НКВД. На стройке были задействованы

³⁷ Вайль П., Генис А., 60-е. Мир советского человека. – М.: «Новое литературное обозрение», 1996, с. 83.

³⁸ Kotkin St. Magnetic mountain: Stalinism as a civilization – University of California Press: Berkeley and Los Angeles, 1995

как добровольцы, так и репрессированные. Архивные материалы позволили историку всмотреться в микрокосм сталинского социализма, проследить превращение человека, выросшего в до-революционной и «нэповской» России в активиста и проводника нового образа жизни³⁹. Однако, природа письменных источников задает и некоторые ограничения. Хотя «позитивная интеграция» рассматривается как процесс системный, внимание неизбежно на том, что предлагается «сверху» и как в предложенные формы активности и правила игры включаются (или не включаются) люди, оказавшиеся в Магнитогорске. В данном исследовании фокус несколько иной – импровизация нового образа жизни, самореализация людей в сообществе, которое складывается на новом месте коллективной жизни. Этот фокус, во-первых, необходим – именно потому, что на строительство приезжали и оставались в городе добровольно. Во-вторых, этот фокус возможен – если опираться на «устную историю». Временная дистанция до пятидесяти лет (в случае первостроителей Братска) и менее (в случаях Усть-Илимска, Дивногорска, Байкальска и БАМа) позволила опереться на биографические интервью⁴⁰. Меня интересовало не овладение способом «говорить по-большевистски» (и думать по-большевистски или по-коммунистически). Такое овладение может быть циничным, могло быть вполне имманентным, но это тот уровень включенности в воспроизводство системы, которому предшествует выбор людей в пользу жизни в новом городе. Интересовал и интересует именно этот выбор и его сегодняшнее обоснование теми, кто не только приехал на новое место, но и остался в формирующемся человеческом сообществе, участвовал в его создании и принял как своё, как «магнитную гору», пользуясь метафорической игрой St.Kotkin.

Данная глава опирается на материалы исследования «советского» как личностного феномена, не сводимого к тотальному воздействию воспитания, изоляции от мира и к подавлению личности⁴¹.

³⁹ см. главу “Speaking Bolshevik” в книге Стивена Коткина.

⁴⁰ Значительная часть интервью собрана еще в 90-х годах

⁴¹ Рожанский М. Дневник советской девушки// Интер, 2007, №4, сс.55-70; Рожанский М. Разномыслие в условиях добровольной несвободы: поколения советских идеалистов// Разномыслие в СССР и России (1945-2008) – СПб.:изд-во ЕУСПб, 2010, сс. 180-206; Рожанский М. Между настоящим и реальностью: оптика советского идеализма//Человек, 2010, №5, сс.47-57.

В базе интервью, взятых в Братске, есть пятидневное биографическое интервью (примерно 12 часов) с Кларой Алексеевной Тимониной (далее Клара Т.). Оно стало опорным для статьи. Биографическое повествование используется не как иллюстрация, а как способ удержать антропологический фокус анализа – это возможно только через детальное видение биографии человека. Материалы, связанные с Усть-Илимском, дают возможность рассмотреть исследуемый феномен в контексте нескольких десятилетий.

У тех, кто в сибирских «великих стройках» участвовал, слово *энтузиазм* не вызывает возражений, но сами они это понятие если и используют, то со снижающими оговорками. Самоотдачу, которую проявляли участники этих строек, они никогда не объясняют воздействием пропаганды или верой в коммунизм. Но все собеседники без исключения (заметим, что все они из числа тех, кто остался жить в построенном городе) об этих особых настроениях и исключительной психологической атмосфере говорят. Клара Т. обозначила эту психологическую атмосферу кратко «Эйфория была». Некоторые из вспоминающих не только выражают ностальгию по этому поводу – в их повествовании без каких-либо специальных вопросов с моей стороны возникает и рефлексия по поводу этой «эйфории». Они пытаются объяснить себе и мне, почему «эйфория» возникала, но никогда и никто не рассматривает её в негативных коннотациях. Даже в подобной рефлексии эйфория коллективизма, пережитая когда-то, расценивается как большая личная жизненная удача тех, кто приехал на стройку и остался на ней.

Первостроители: нужда и романтика. Что вело людей в необжитые места? Чаще всего желание и/или необходимость начать новую жизнь. «*Нужда гнала и романтика была*» – лапидарно ответила на этот вопрос Клара Т. Они с мужем приехали на строительство 30 декабря 1955 года. В тот день было 56 градусов мороза («*Оказывается, действительно, мозги замерзают – это не преувеличение*»). В гостинице («*вот – две палатки стоят*») гомон, «чафир» и горячее обсуждение вновь прибывшими, на какой именно участок строительства надо попасть. Назавтра, когда определялись с жильем, увидели в приглянувшейся им палатке молодую пару с двумя маленькими детьми и решили: «С

детьми приехали, а мы-то уж проживем». В лаборатории по испытаниям энергооборудования, где работала Клара Т., сложился небольшой коллектив людей с разными, но в чем-то типичными биографиями послевоенного времени:

С. – «в Норильске десять лет отработал, реабилитирован. Очень многие остались в Братске на строительстве. Почему? Ну вот он. Сам из Минска. Дом разбит, ничего там нет. Ну вот он остался»

К. – «Вот как судьба человеком. Впервые встретила еврея, который работал шофером. В финскую войну работал на полуторке – остался жив. Вся войну был сапером. Остался жив. Получилось пять лет и оказалось эта служба не засчитывается и «надо еще действительную». После действительной восемь лет был в армии, потом сюда».

П. – «этот сидел уже у нас, на Вихоревке (поселок недалеко от Братска – М.Р.)»

П.Г. – «Он был рентгенолог, всю войну прошел в медсанбате. Вернулся домой, всё нормально, встретили – выпили. Он говорит: «неправильно, что в Германии простые люди все на помойках живут. У них тоже всё хорошо устроено. У них не колхозы, но у них тоже кооперативы. Фермер арендует технику, заключают соглашение о покупке продукции». Ему дали десять лет. А были все совершенно свои.»

В. – «Родом из поволжских немцев. Работал электриком у Павлова – физиолога. В июне сорок первого был в деревне. Когда началась война, был три дня на покосе. «Возвращаюсь – идет техника, не обратил внимания, там шли маневры. А мне «Хэнде хок». Батрачил, всё делал». Затем откатывался вместе с немцами от наступавшей советской армии, арестован и после пыток В. подписал признание. «Ему в камере говорят: подпиши, отсидишь срок в **Тайшете** и выйдешь, а так живым не оставят после того, что с тобой делали. Ну и решил: подпишу, отсижу в **Ташкенте** в тепле. А его всё везут и везут – в **Тайшет**. А жена с сыном приехали к нему. Его мало посылали на лесоразработки – на все руки мастер, женам начальства надо шить – машинку надо отремонтировать там. Он несгибаемый такой, выжил потому, что дал себе приказ молчать.

Такие люди собрались у меня в лаборатории».

А вот рассказ о коллеге из другого инженерно-технического подразделения, с которой Клара подружилась в Братске:

«Она вечно скрывает, сколько ей лет. Но она действительно не знает, сколько ей лет. Дело в том, что отца у нее репрессировали. Сама она Рабинович. Эта фамилия ее очень сильно... В те время она бы никогда не поступила. Она все скрывала. А как только у них задалась возможность с Дмитрием, вроде сначала и брак-то они условный сделали, чтобы ей сменить фамилию. Иначе она бы не поступила в институт».

Вот семейное предание о деде, поведенное человеком, родившимся в Братске: *«бабушка говорит, те переживания, которые он перенес, когда он видел разоренную Европу – разоренная Европа может быть лучше, чем Россия в мирное время. Он пришел и просто начал пить... потом просто бросил пить и начал чем-то заниматься и стал деньги носить в дом. Потом приехал «воронок» и забрал его. Ему дали статью за соучастие в вооруженном бандитизме. Он как соучастник, а не то что участник. Его отправили «на химию». Сначала их куда-то в Сибирь шибанули: лес рубил, а потом его кинули сюда строить Братск и Братскую ГЭС. А моя бабушка, она забрала дочь – мою мать – и поехала за мужем в Сибирь, как декабристка» (Вячеслав П.)*

Приведенные свидетельства о людях «с непростыми судьбами», которые были взрослыми во время войны. Но на стройке преобладали (особенно на рабочих специальностях) те, кто во время войны были детьми или подростками. Многие ехали сразу после демобилизации из армии, кто-то из сибирских деревень, кто-то с других строек, проходивших не в таких экстремальных условиях, у кого-то были уже непростые жизненные истории. У всех были, безусловно, непростые характеры и способность к самостоятельному решению – во всяком случае, у тех, кто остался в Братске. Вот свидетельство о тех, кто был занят на непосредственно строительных работах:

«Моя подружка сюда приехала из Москвы тоже по комсомольской путевке. Целый поезд был. Ну, конечно, девчонки после окончания школы, та, например, в институт не попала. Она поступила, но подружка ее не поступила и по этой причине она за компанию не стала учиться. И приехали сюда. Тетка ее готовила. Стеженки, говорит, им дали. Лето было, а думали, что

мороз тут. Удивительное дело. И, вот, этих девчонок потом отправили работать на ЛЭП. Эту ЛЭП строили не 220, а 110. Первую ЛЭП ввели из Иркутска... Они работали там на бетоне. Нужно было все опоры бетонировать. Это кошмар. Зима, палятки, холодина. Приходили в робах в бетоне, так и плюхались на кровати. Потом утром вставали, с себя их сдирали, что-то на себя одевали и опять шли работать. Как можно было девчонок туда отправлять. Потом уже удивлялись. Мыслимое ли дело. Работали наравне с мужчинами. (Людмила З.)

Управленцы – в том числе и вполне добросовестные – обращались к энтузиазму подчиненных как к средству, позволяющему компенсировать пороки хозяйственной организации. Леонид Шинкарев цитирует начальника одного из участков строительства Иркутской ГЭС, который именно на этой стройке – не первой в его жизни – понял, что «на стройке успех обеспечивают не только техника и средства, а в основном, энтузиазм людей!»⁴². Подобный, характерный для 1930х-60-х годов, стиль советского управления опирался на аскетизм и стоицизм как культурную норму человека, понимающего приоритет не просто общего перед частным, а исторических задач перед индивидуальным⁴³. Эта культурная норма могла объединять командиров производства и «рядовых бойцов». Она же могла быть и предметом управленческой манипуляции. Различия между первой и второй далеко не всегда были очевидны.

Переброской рабочей силы и специалистов на ударные стройки режим решал экономические задачи по освоению территорий и ресурсов. Но намеренно или по логике вещей решались и задачи социально-политические: таким пострепрессивным способом «сбрасывался» наиболее мобильный социальный элемент, который представлял собой (понимали это функционеры режима или нет) действительную опасность и каждодневные неудобства как для бюрократии, так и для системы идеологической деятельности. Таких, например, как Клара Т. и её муж Геннадий. Клара

⁴² Шинкарев Л. Сибирь. Откуда она пошла и куда она идет. – Иркутск, Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1974, с. 250

⁴³ Собственно, на подобной апелляции построен весь типологический репертуар ответственности как комсомольца, члена партии, так и любого рабочего или интеллигента. Здесь не только сословная честь, но и ответственность страны перед историей как фон (выявляемый или скрытый) любого события, поступка, высказывания. Идеальное предъявлялось в модальности долженствования.

не вспоминает каких-либо веских причин, которые побудили их с молодым мужем уезжать с Поволжья в Сибирь – отдельную жилплощадь они вскоре должны были получить там, карьерные соображения их никогда не волновали. Все версии можно строить на свидетельствах о характерах Клары и её мужа Геннадия. Приведем одно красноречивое из интервью с Klarой:

«Когда мы ехали, несколько часов мы стояли в Тайшете. Поскольку был 55 год, шла реабилитация заключенных. И, вот, там, на вокзале в Тайшете, в это мороз лежало столько скрюченных искалеченных людей, ревматичных. Они не могли ходить, под ними лужи, они примерзли. Меня мой еле удержал. Я бы натворила дел. Я не могла этого... я рвалась к дежурному. Мой только держал меня. Он говорил: «Ты пойми, ты сама угодишь туда». Я могла наговорить не знаю чего. Но в конце концов: «Все, все будет... за ними приедут и скоро их куда-то увезут, ...на носилках унесут». Понимаешь, меня, как дуру, облапошили, конечно. Уехали мы. Но эта картина у меня стояла долго перед глазами. Я впервые увидела эту бесчеловечность. Кошмар какой. Не приведи бог».

О характере Геннадия достаточно свидетельствует то, что коллеги его прозвали «правдолюбом».

Трудно такой «сброс» расценить как сознательную стратегию – слишком велики риски, связанные с концентрацией социально-активных людей без жесткого надзора. И даже если эти риски, как и задачи профилактики социального недовольства, рассматривались, то, вне сомнения, были на втором плане по сравнению с решаемыми экономическими задачами. Каких-либо характеристик от приехавших самостоятельно не требовали – во всяком случае, мои респонденты об этом не помнят. Не было и никакой системы ответственности руководителей, направлявших на «ударную стройку» своих работников, за поведение или «политическое лицо» направляемых. Важно было, чтобы выполнялась разнарядка по количеству людей.

Рождение Братска – это вторая половина 50-х годов – начало 60-х, Усть-Илимска – середина 60-х-начало 70-х (Усть-Илимск пережил и «второе рождение», строительство так называемого «нового города», но оно практически за рамками этой статьи). Для Сибири это часть масштабного процесса

индустриализации и урбанизации, для страны – резкое (хотя и очередное) возрастание роли Сибири не только в экономическом, но и социальном развитии. «Великие стройки», «ударные стройки», «стройки коммунизма» в послевоенные десятилетия советской истории были очередным и самым масштабным этапом внутренней колонизации Сибири⁴⁴. Стивен Коткин (St.Kotkin) рассматривает возникновение «социалистического города» Магнитогорска в контексте внутренней колонизации территории и населения, осуществляемой советской властью. Сталинизм как цивилизация был способом нового освоения имперского пространства и новый комбинат-город, решавший индустриальные задачи, выполнял и функции центра советизации Южного Урала⁴⁵. Строительство Братской и Усть-Илимской ГЭС, возникновение и рост новых сибирских городов – всё это так же было фронтиром модернизации страны, но которую невозможно отождествлять с советизацией. Это наращивание индустриализации и продолжение советизации, но одновременно выявление противоречий советского, предисловие к кризису как экстенсивной экономики, так и советской цивилизации, которую Стивен Коткин (St.Kotkin) называет сталинизмом.

Эйфория против аномии. Миллионы людей разного возраста после войны, после освобождения из лагерей или ссылки, накануне демобилизации находились в ситуации выбора места жизни. В любом месте новый человек, так или иначе, проходит через недоверие, а в советских условиях «чужак» особенно подозрителен и «по СССР бегать не полагается», как говорил один из персонажей пьесы М.Булгакова «Зойкина квартира»⁴⁶. Выбор же в пользу новой стройки социально одобряется и все на ней за исключением молодежи из местных деревень были приезжими. Но и для сельской молодежи стройка не нечто навязанное, а новые возможности:

«Нас отправили на картошку в деревню, на острова. Так молодежи там было мало. Спрашиваем – где ваша молодежь? А

⁴⁴ Из 164 городов Сибири 82 города, т.е. каждый второй, возникли после Второй мировой войны.

⁴⁵ Kotkin St., op.cit., p.34

⁴⁶ Напомню обмен репликами в пьесе М.Булгакова «Зойкина квартира»:

«Т о л с т я к. По СССР бегать не полагается. Каждый должен находиться на своем месте. В а н е ч к а. Абсолютно».

они все подались: кто – в город, кто – на стройку. В деревне не хотели. К образованию хотели. У нас в первый же год в школе открыли вечернюю школу. Было битком забито. Стремилась учиться.» (Людмила З.)

Модернизация воспринималась не только как цель, она осуществлялась здесь и теперь. Символом модернизации были современная техника и образование. Учительница рассказывает о повседневности школы, в которой работала:

«Тогда все три этажа были забиты вечерниками. Многие отслужили уже армию. А днем там были учебные пункты. И еще была дневная «вечерняя» школа – потому что ребята работали посменно.» (Людмила З.)

Воспоминание о бригаде рабочих:

«Хотя люди, в основном, с 4-мя классами – система учебных пунктов – научат на кране работать или шоферить» (Анна Г.).

Но и для тех, кто приезжал после армейской службы или после работы на другом строительстве, имея востребованную специальность, стройка открывала профессиональные перспективы. Так, например, водитель вспоминает о том, что начальство обещало «посадить на новые машины» и ему такая новая техника была доверена, в одном ряду с получением собственного жилья (Василий В.)

«Представьте себе – крестьянин. В любой области, крае. Это тяжелейший труд. В Сибири он трижды тяжелей. Условия тут такие тяжелые. И когда стройка началась, все поняли, видели, я бабушку Агафью 40 раз вспоминал, пришли трактор, самосвал, бурилка, электропилы, краны и все прочее. Она посмотрела все это и говорит: «Сейчас так работают, как мы раньше отдыхали». Жизнь коренным образом изменилась. Появился свет и так далее» (Николай Д.)

Рождению нового мира всегда сопутствуют эйфория и anomia. Признаки того и другого мы можем обнаружить в свидетельствах и о молодом Братске⁴⁷, и о молодом Усть-Илимске⁴⁸, и о поселках БАМа.

⁴⁷ В поэме Евг.Евтушенко «Братская ГЭС» один из легендарных персонажей стройки и города Алексей Марчук « А после с красною повязкой кидаться будешь ты в ночи туда, где с вкрадчивой повадкой по фене ботают ножи» (Евтушенко Е. Присяга простору. Стихи. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1978, с.268)

⁴⁸ В отношении Усть-Илимска могу сослаться на собственные впечатления июля 1975 года, когда был очевидцем ночного рейда комсомольского оперативного отряда. Рейд

В случае Ангарска, «города, рожденного Победой», то есть непосредственно после войны, при активном использовании труда заключенных и сохранении этого обстоятельства в городской идентичности⁴⁹, сюжеты драк, хулиганства, агрессии воспроизводятся в устной истории наряду с рассказами об уникальной человеческой атмосфере. Они спокойно признаются и даже находят отклик в городской мифологии в более позднем по происхождению Усть-Илимске⁵⁰. В случае Братска они вытеснены настолько, что невозможно реконструировать по воспоминаниям (как письменным, так и устным) были ли они исключением или всё-таки повседневностью в первые годы строительства⁵¹. Один из собеседников – Василий В., работавший шофером на строительстве плотины, на прямой вопрос о драках и/или пьянках рассказал, что обычно после вечерней смены возвращался к себе в окраинный поселок пешком без всякой опаски и без единого инцидента за несколько лет⁵².

был результативным – в одном из домов «накрыли» квартиру, служившую притоном, и задержали завсегдагаев, но около этого же дома во дворе горел традиционный костер, около которого собирались жители из разных подъездов и пели под гитару и без оной.

⁴⁹ См. Остапенко Е. Город в Слове – Слово о городе//Байкальская Сибирь. Предисловие 21-го века. Альманах-исследование. – Иркутск, 2007, сс. 134-142

⁵⁰ «Город и зона – пожалуй, самая болезненная тема городской идентичности, особенно для ангарчан старшего поколения. Многим из них зона представляется чем-то вроде раковой опухоли, из-за которой произошло качественное перерождение всего городского организма» (с.141)

⁵¹ «Просочившаяся сквозь заборы» лагерная этика дала о себе знать особенно ярко в начале 90-х. Тогда во время крутых социальных перемен практически легализовались уголовные порядки в городе. Основным способом разрешения конфликтов, особенно среди молодежи, стали стрелки, и прав был тот, за кем стояла большая сила». (с.142)

⁵² Елена Остапенко, родившаяся и выросшая в Ангарске, цитирует ангарских литераторов старшего поколения, которые были участниками строительства города. Вот бывший заключенный Валерий Алексеев: «Ложь любых аксиом безопасней//Но довольно валять дурака//Ныне знает любой первоклассник//Что построили город ээка...»

⁵⁰ При строительстве города Усть-Илимска исправительно-трудовые учреждения обеспечивали некоторые подсобные работы, не входившие в непосредственный «фронт работ» трех «ударных строек»: ГЭС, город, ЛПК.

⁵¹ Задача выяснения этого в архивах органов внутренних дел мной не решалась.

⁵² « – А вы здесь в Гидростроителе жили? Здесь вообще было шумно, опасно, нет? Т.е. в этом месте. Тут были какие-то драки, пьянка, нет?

– Здесь нет. Раньше такого не было, как сейчас. Сейчас, конечно, больше безобразия. Молодежь ударилась в водку. Тогда же не пили так. Ни молодежь ни... Ну, меньше употребляли алкоголь. Здесь спокойно. Идешь в два часа ночи, три часа ночи. Если во вторую смену работаешь, до двенадцати, в два часа уже идешь домой. Ночью идешь напрямую, раньше ведь не было ни автобусов, ни как...». (Василий В.)

Приведем также свидетельства Людмилы З., они достаточно характерно:

«Одно только ЧП было – парни приехали и драка была и убили одного парня. Все были поражены».

«Водки и вина было мало. Помню, была водка кориандровая, можжевельная. В основном, настойки. На травах. Но это все было в Братске. На Падуне⁵³ был магазин, а так-то не было. Пьяных было мало. Пьянки, как таковой, не было. Кто-то оставался здесь. Кто-то собирался уезжать. А уезжать – надо зарабатывать деньги».

Можно предположить причины такого вытеснения. Во-первых, это значимость декларации об отсутствии заключенных на стройке («мы – первые, мы справимся и без лагерей!») для исторического смысла стройки и (следовательно) для коллективной идентичности самих строителей. А во-вторых, это принципиальная важность признаков обновления жизни для людей именно пятидесятых годов. География стала своеобразным ресурсом этого поколения⁵⁴. Выбор собравшихся на строительстве Братской ГЭС – так же, как и для их столичных ровесников, обозначенных позднее как «шестидесятники» – был в пользу идеалов и ценностей, которым не соответствовала советская реальность. Но в отличие от «детей 20 съезда» и в 1956 году и позднее строители Братской ГЭС были объединены не обсуждением/осуждением масштаба репрессий и курса партии (или в героических случаях – борьбой за права человека), а *практикой устройства* социальной жизни, отличной от той, из которой они уезжали, практикой, которая стала возможна «здесь и теперь». Эта новая жизнь и была для них событием, гораздо более заметным не только, чем «секретный доклад», но даже и «бытовое пьянство».

Не наша задача (если оно, вообще, может быть решена) определить сегодня существовавший тогда баланс, нам важно, что осталось, а что вытеснено из памяти (или не отложилось в памяти) тех, кто не уехал со стройки. Проблематизация, которая возникает в результате противопоставления, может быть сфор-

⁵³ Падун – поселок строителей ГЭС, а Братск в период, о котором вспоминает респондент – райцентр, превратившийся в начале 50-х из села в рабочий поселок (лесозаготовка) и оказавшийся впоследствии в зоне загопления.

⁵⁴ См. подробнее: Рожанский М.Я. Разномыслие в добровольной несвободе. Поколения советских идеалистов//указ.изд.

мулирована следующим образом: эйфория коллективизма была не единственным социальным миром, характерным для великих строек постгулаговского периода, но именно этот социальный мир стал базисным для идентичности возникших в результате этих строек молодых городов и основой их исторического предания. Очевидно, так значительна роль, которую эта «эйфория коллективизма», сыграла в личностном развитии тех, кто на стройке и в новом городе «нашел себя».

Словарное определение понятия эйфории – *«неоправданное реальной действительностью благодущное, повышенно-радостное настроение»*⁵⁵. «Понимающая» социальная наука рассматривает социальный мир человека как часть реальной действительности. И этот социальный мир вполне оправдывал «повышенно-радостное настроение».

Эмоциональный настрой поддерживался и рационально – обоснованием правильности сделанного выбора. Рационализация – для себя и/или для тех, кого нужно было убедить в этой правильности – опиралась на любые признаки того, что на великой стройке, действительно, открываются возможности обновления жизни, новой биографии, доступ к перспективам модернизации.

Получение жилья тоже было не просто решением проблемы и появлением своего угла, а приобщением к новой, современной жизни.

«Очень тяжело идти от хорошего к плохому. Но для нас каждое маленькое хорошее было что ты.. Когда я первый раз зашла в свою комнату из палатки – ну как тут объяснить. Конец августа, у нас много было переселений. Отопление уже дали. Электричество провели в дом. Что вам надо еще? Дом деревянный, пакля с верхних пазов висит на пол-метра – плохо протыкнута. На первом этаже, где маляры краски свои разводили, краска лепками – и стены просто деревянные нестроганые, окна так вставлены. Входим: «Гена, как хорошо – батареи горячие». (Клара Т.)

⁵⁵ *Словарь иностранных слов/отв.редакторы В.В.Бурцева, Н.М.Семенова. – М: Рус.яз. – Медиа, 2003 – 820 с., с.773*

Возникающие ассоциации со стихотворением Маяковского, написанным в 1928 году,⁵⁶ усиливаются, когда Клара рассказывает подробности обживания. Ни советскую власть, ни социализм в отличие от героя Маяковского она не вспоминает, но эмоции не менее глубокие, чем в поэтическом тексте – переживания человека, входящего в новую жизнь:

«Поставили свои два чемодана, у меня были две подушки, два одеяла ватные – мама мне подарила. Выручили очень в палатке. Время – три, четвертый час уже – надо и о вечере уже подумать. Гена миглом чурков наносил, сколотили топчан из досок, газет настлали, ток есть в розетке – как хорошо – тут же чайник на полу поставили, скипятили, отварили, уселись есть. А ноги мелькают у нас в окошке, потому что еще не закрыли канавы – отопление проводили – и поверх ходят, ноги мелькают, заглядывают. Ну ладно, люди свои».

Каждое приобретение – событие: покупка стола, покупка стиральной машины, которую сразу же испытали – и через пятьдесят лет Клара хорошо помнит, что для испытания рискнули кальсонами китайского производства, которые специально принесла соседка. Событием стала и покупка туалетной бумаги, поскольку о существовании такого блага цивилизации молодожены не подзревали до того, как увидели товар в магазине. Детали как ступени в новый образ жизни запечатлелись еще и потому, что они сообщались «городу и миру».

Дочка Клары Т. дополняет эти воспоминания из рассказов родителей, которые слышала в детстве: *«когда ждали квартиру, мама не верила, что в каждой квартире собственный туалет – зачем отдельные туалеты?»* (Валентина К.)

Обратим внимание в повествовании Клары Т. на формулу «Люди свои», обозначающую взаимный расчет на сочувствие каждого, некоторую неопределенную степень открытости семейной, домашней жизни перед теми, кто тоже приехал на эту стройку.

Великие стройки – переплетение интереса к изменению своей биографии и изменения социальных условий. «Эйфория коллективизма» возникла потому, что сбывались надежды и ожидания,

⁵⁶ Маяковский В.В. Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру // Маяковский Владимир. Полное собрание сочинений в 13 тт. – т. 9 – М.: Гос.из-во худож. лит-ры, 1958, сс.23-26.

которые предшествовали решению ехать на стройку – радикально менялась биография, радикально иными были социальные условия.

Практические жизненные возможности воспринимаются даже не как ресурс для будущей жизни, а начало этой новой жизни – контрастно отличной от прежней. Такие возможности открывает участие в большом проекте. Но большой проект – это не только практические возможности, а прежде всего мобилизующая цель и исторические смыслы, которые становятся для участника экзистенциальной опорой. И это особенно важно для маргинала, у которого дефицит экзистенциальных опор.

«Мой брат приезжал ко мне (из деревни в Нечерноземье) и говорит: «Знаешь, сестра, ты не гордись, что вы строите величайшую ГЭС. Не только вы строите, и мы строим». Отсюда он набирал рыбных консервов, камбалы. На которые мы внимания не обращали. Он говорил, что у них и пшена нет. «Мы ничего почти этого не видим. У вас тут все есть... Не одни вы строите ГЭС». (Клара Т.)

Диалог, точнее его версия и контекст, оставшиеся в памяти ясно свидетельствует, что участие в стройке было предметом гордости, что участники воспринимали её, стройки исторические смыслы как собственное достояние. На протяжении многочасового интервью Клара всякий раз сокращала штамп «величайшая в мире» до иронического «чайшая..», как бы передразнивая пропаганду того времени и дистанцируясь от своих бывших иллюзий. Братская ГЭС не перестала быть одной из крупнейших в мире, но под сомнения попали смыслы такого гигантизма и его последствия. Но ни в коей мере не подвергается сомнению исключительность социального мира, возникшего на гигантской стройке:

«Люди были тут более непокорные, более свободные, чем на Волге?»

– Люди тут были более самозабвенные. Тут был такой дух – он шел от людей – что надо ГЭС построить, что мы будем жить лучше, что нам дадут квартиру. Столько было открыто учкомбинатов – люди получали специальности».

В этом коротком ответе названо, по сути, всё перечисленное ранее – историческая задача, работа, жилье, учеба. Но акцент па-

дает на слово «дух» – метафору общественной атмосферы, настроений, самоотверженности.

Солидарность маргиналов. Каждый, кто приезжал, ожидал от стройки новый стиль человеческих отношений, а от себя – способность к преодолению экстремальных условий жизни. И действительно, для каждого, приехавшего в Братск, стройка была не просто сменой места и условий жизни, а возможностью самореализации и самоутверждения. Это изменение – собственно первое и необходимое условие того, чтобы возникло ощущение большой жизненной удачи, причем не выпавшей в лотерею, а ставшей результатом твоего решения.

Пространственная (физическая) и социальная мобильность были настолько интенсивны и настолько характерны для большинства населения, что понятие *маргинальность* может быть принято как одно из ключевых для понимания процессов социализации человека в условиях советской модернизации. Здесь понятие маргинальность используется в варианте, восходящем к Роберту Парку, то есть акцент сделан не на факте исключенности из социальной группы, а на нахождении между мирами, культурами, социальными порядками⁵⁷. «Нахождение между мирами» стало типичной ситуацией⁵⁸, а понятие «маргинальность» инструментальным для исследования акторов социальных изменений⁵⁹.

«Ударные стройки» притягивали исключенных и тем, что давали возможность войти в некую исключительную группу, уникальный социальный порядок. Динамика формирования коллективной идентичности – осознание этой исключительности,

⁵⁷ «Маргинальность – состояние пребывания частично внутри социальной группы и частично вне её. (Джерри Дэвид, Джерри Джулия. Большой толковый социологический словарь. Том 1 (пер. с англ.). – М: Вече, 1999., с.389)

⁵⁸ «Урбанизация, массовые миграции, интенсивное взаимодействие между носителями разнородных этнокультурных и религиозных традиций, размывание вековых культурных барьеров, влияние на население средств массовой коммуникации – всё это привело к тому, что маргинальный статус стал в современном мире не столько исключением, сколько нормой существования миллионов и миллионов людей» (Рашковский Евгений. Маргиналы/50/50. Опыт словаря нового мышления. - М.: Прогресс-Рауот, 1989, с.147)

⁵⁹ Если принимать «положительную часть» определения маргинальности, то маргинал может рассматриваться не с точки зрения недостаточного участия в социальной жизни, а, напротив, избыточного участия, вызванного сложностью и разнообразием отношений с различными группами, см: Баньковская С. Чужаки и границы: к понятию социальной маргинальности //Отечественные записки, 2002, №6

утверждение права на неё. Эта коллективная идентичность была и импровизацией, неспланированным результатом солидарного взаимодействия людей в неповторимых обстоятельствах жизни и работы, и была, в то же время, производной от личных ожиданий.

В контексте сбывшихся личностных ожиданий можно рассматривать трудовой энтузиазм, свидетельство о котором прочитываются в интервью – «народ здесь был самозабвенный», «ханжество-не ханжество, но стыдно было о деньгах спросить» (Клара Т.). В двух интервью (Николай Д. и Клара Т.) есть рассказ об одном и том же эпизоде, свидетелями которого были респонденты: студент, проходивший производственную практику, отказался выполнять поручение, требовавшее работы на одном из участков электросети, находившемся под напряжением. С точки зрения техники безопасности он был формально прав, но его дружно осудили взрослые члены коллектива – это противоречило нормам трудовой этики, господствовавшим на стройке – интересы дела не только для руководителей, но и для рядовых работников предполагали работу на грани обдуманного риска. Случай запомнился и приводится как пример, благодаря тому, что практикант был сыном одного из руководителей строительства, и мы к этому апокрифу еще вернемся. Пока лишь обратим внимание на то, что безусловным императивом для оценки человека служила его самоотдача в работе.

Психологическая атмосфера, преобладавшая на рабочих участках, описывается в духе фразы из интервью Людмилы З.: «Работали с какой-то легкостью», передающей удивление из сегодняшнего дня тем отношением людей к работе, которое запомнилось. Этой фразе почти непосредственно предшествовал процитированный выше эпизод про тяжелую мужскую работу на бетоне, которую выполняли молодые девушки из Москвы. И во всех интервью, когда возникают эпизоды повседневного труда, можно представить напряжение и авральный характер работы

Очевидно, что трудовой энтузиазм – лишь одна из составляющих эйфории и также очевидно, что это энтузиазм труда коллективного, то есть, скорее, следствие общей психологической атмосферы, нежели воодушевление трудом. Эйфория, если и связана с трудовым энтузиазмом, то не сводится к нему. В се-

годняшних воспоминаниях он не является главной темой. Когда речь идет о трудных условиях работы и быта, то подчеркивается именно экстремальный (говоря современным языком) характер этих условий. И способности к напряжению сил. Первая зима – особенно жестокие условия быта и труда, но и они воспринимались как то, что оказалось преодолимым, стало повседневностью.

«Все было неустроено, страшно неустроено. Ну и что? Палатки не смущали, не боялись. Наводнение в декабре. Ночью. Мы из палаток перебрались в недостроенный дом» (Людмила З.)⁶⁰.

«Народ деятельный. Гора Шанхай – врезались, делали землянку (они теплее) и по всей горе горели огни. На ней разбивали огороды, разводили коров и свиней» (Клара Т.)

В рассказах не просто описывается атмосфера коллективной жизни, но все время акцентируется её исключительность. Метафора «дух» и возникает как экспрессивная форма такого подчеркивания.

Стиль отношений можно определить двумя формулами из разных интервью: «не помню ни одного конфликта» и «ржачка всё время стояла». Первая фраза относится к трудовому коллективу, вторая – к общему палаточному быту. Небольшие иллюстрации (которые можно множить) к этим двум формулам.

«В палатке было пять семей, а кровати односпальные. Делали из досок топчан, который клали на кровать, чтоб муж с женой мог спать. Топчаны скрипели, конечно. Столько смеха было наутро: а эти-то до пяти скрипели – спать не давали».

«Здесь как одна семья была. Большинство жили в палатках, а палаточный городок как одна семья».

«Собирались по праздникам по бригадам. В те времена понятия «мы не сработались» не было. Не нравится тебе, ну не нравится человек – но ему надо жить. Всей лабораторией перешли на ГЭС».

«Народ здесь был демократичный».

«Народ, который работал – было «скромность – не скромность, ханжество – не ханжество» в отношении денег – стыд-

⁶⁰ В последующие годы, когда Ангара была перекрыта и когда люди жили уже не в палатках, лишения воспринимались как проблема организации, как чья-то вина.

но спросить об оплате. Мужики считали ниже своего достоинства об этом говорить».

«Народ был молодой, смеялись».

Два мотива постоянно звучат в каждом интервью о первых годах Братска. Во-первых, атмосфера веселья, которая запомнилась настолько ярко, что можно предположить значимость её как функции психологической разрядки, как личного освобождения. А, во-вторых, простота и нецеремонность отношений, но не грубость и бесцеремонность – обязательно отмечается равенство ситуаций каждого, кто приехал в Братск, сквозит уважение к мотивам и причинам приезда, к умениям и качествам друг друга.

Перекликаются с этим детские воспоминания о первых годах Усть-Илимска:

«мы два года в деревянном бараке прожили и потом переехали на «50 лет ВЛКСМ» – самые первые дома были. Я помню праздники там: Новый год, Седьмого ноября. То есть гуляли всем подъездом, все друг друга знали вот именно атмосфера жизни вот такого какого-то....все жили одними интересами и соответственно... Все были одного возраста, все стремились изменить, может быть, на самом деле что-то в своей жизни. Знаю, что у нас на третьем этаже Соколовы жили, всегда пацаны собирались вместе со всего подъезда у них там... Новый год всегда и наготовят, нажарят, потом разбредаемся, родители в постель заткнут. В новогодний праздник всегда же ходят туда-сюда...на всех площадках двери открыли и все друг к другу заходят...Вот какое-то такое было...наверное, было что-то в этом. (Виктор Г., родился в 1962 г. в Братске, с 1965 года семья жила в Усть-Илимске)

Приезжавшие на большую стройку или, позднее, в молодой город искали новых человеческих отношений и ожидания оправдывались. Человек обретал идентичность через формирование коллектива и свое участие в этом процессе. Человек сознательно участвовал в создании социальности. В воспоминаниях царит ностальгия по некоему общинному духу. Но только отчасти эту ностальгию можно объяснить неудовлетворенностью сегодняшней стилистикой и качеством человеческих отношений – ни в одном интервью не прозвучало аргументации в дихотомии раньше/теперь. Противопоставление сегодняшней и прежней социальной

атмосферы, если возникало, то ни разу не касалось микросреды, коллектива – только общей социальной ситуации. Но достаточно частый сюжет – контраст между атмосферой стройки и тем, что человек видел и пережил «до».

Мераб Мамардашвили в статье, написанной в позднесоветское время, определял «современную культурную ситуацию в стране» как положение «прислоняющихся неумех»⁶¹. Анализ интервью, взятых в Братске, заставил вспомнить об этой статье. В ней социально-философскому исследованию был подвергнут человеческий мир, сопротивляющийся модернизации, отказывающийся конструировать социальность на каких-либо основаниях, кроме привычных. И при этом язык, с помощью которого М.Мамардашвили описывает доминирующую советскую социальность, дает средства для описания человеческого мира первостроителей Братска, в чем-то концентрирующего черты доминирующего советского, а в чем-то резко отличного от него.

«Все мы живем, прислонясь к теплой, непосредственно нам доступной человеческой связи, взаимному пониманию, чаще всего неформальному. Закон же предстает перед нами как нечто предельно формальное и лишенное необходимого оттенка человечности...»

Мы погружены в непосредственную человечность и часто не способны разорвать связь понимания. Мы как бы компенсируем взаимным пониманием и человеческим обогревом неразвитость нашей социальной гражданской жизни»⁶².

В существовании «взаимного человеческого обогрева» люди находят ресурс не развития, – показывает М.Мамардашвили, – а самосохранения, возможность уклониться от осознания ситуации, от предназначения, призвания. Боясь усложнения общества и собственных социальных действий, люди презирают то, что выходит за рамки непосредственного человеческого тепла как формальное и лишенное «знака человечности». Философ отмечает за этим презрением «давнюю мирскую традицию, или традицию мира, общины»⁶³. Именно это презрение к формальному и тяга к «непосредственному», по убеждению Мамардаш-

⁶¹ Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии// О человеческом в человеке. – М: Политиздат, 1991,с.9

⁶² Там же

⁶³ там же, с.10

вили, блокирует рациональное выстраивание социальной жизни, перспективы сознательной социальности. В статье не употребляется понятие гражданского общества, но речь идет именно об идеале автономной личности, осознанно участвующей в социальном процессе.

Социальная история советских 30-х-50-х годов заставляет видеть, что кроме «традиции мира и общины», тяга к непосредственно человеческому как к экзистенциальной опоре объяснялась также еще и дефицитом непосредственных человеческих связей. Социальное управление строилось именно на разрушении этих связей – семейных, соседских, служебных, и стремлении оставить человека один на один с властью. Общинные устремления были не просто реликтовыми, а воспроизводились заново как реакция на тотальность власти, не оставляющей права на неподконтрольные и несанкционированные отношения.

Общинный дух, тяга к непосредственному теплу человеческих связей – всё это достаточно очевидно и в рассказах о первых годах строительства в Братске и здесь явно находила удовлетворение потребность в общинности, но диагноз «неразвитость социальных умений» в случае Братска либо неприменим, либо требует принципиального пояснения. Мы можем принять некие высокие критерии для социальных умений и оценивать социальные практики «первостроителей» Братска как недостаточные или неразвитые, но они здесь нарабатывались, осваивались, были предметом гордости и культурным капиталом.

Тип отношений, который реконструируется в воспоминаниях участников строителей Братской ГЭС, не описывается метафорой «прислоняющиеся неумехи», хотя многие характеристики в полной мере совпадают. Схожесть мира, реконструируемого на основе интервью с первостроителями Братска, и модели, описанной Мерабом Мамардашвили на основе кинореконструкции провинциального городка (он анализирует фильм В.Абдрашитова и А.Миндадзе «Остановился поезд») в том, что и там и там мы видим воспроизводство общинной жизни как идеала. Отсюда и метафорический ряд «как одна семья», «люди свои». Но ответственность и профессионализм на строительстве Братской ГЭС были не менее значимыми ценностями для оставшихся на стройке, чем взаимное понимание.

Тяга к общинности стала и предпосылкой к массовому возникновению в 60-х годах «неформальных коллективов», о которых, исследуя предпосылки разрушения советского строя жизни, пишет Игорь Смирнов в книге «Социософия революции». «Неформальные коллективы» – детище именно тех, кто вырос в сталинскую эпоху и строил свою жизнь в 50-х-70-х, в более поздних поколениях эта традиция утратила массовость⁶⁴:

«И глядящий в человеческое прошлое, и укорененный в настоящем, равнодушный к запросам большого общества и революционный, трудовой и праздный, почти семейный и антиавторитарный, нивелирующий личности и потворствующий им, малый неформальный коллектив...»⁶⁵. Тезисный анализ Игоря Смирнова построен на интроспекции, на постоянном обращении к опыту объединений ленинградской («питерской») интеллигенции. Но процитированная характеристика почти в полной мере относится к тому коллективизму, который вызывал эйфорию у приехавших на великие стройки. Можно составить таблицу для сравнения тех характеристик, которые Смирнов дает на опыте неформальных коллективов гуманитариев, и тех, которые повторяются в интервью, взятых в молодых сибирских городах у участниковстроек и их детей. Это будет, в основном, таблица совпадений. Может быть, только в силу биографий первостроителей «реликты сельской общины» в сибирских случаях будут более очевидны⁶⁶. В то же время трудно представить «равнодушные к запросам большого общества». С одной стороны, эти запросы играли важную роль в судьбе и внутреннем мире участников «великой стройки» уже потому, что они в ней участвовали. Но с другой стороны, их отношения с идеологией и с «большим обществом» как идеократическим были далеко не однозначны. В случае молодых городов это отношения между идеализмом, обретшим практическое поприще, и идеократией, абстрактной и дегуманной. Именно в силу их аофициозности и антииерархичности я применяю понятие неформальные, хотя они часто складывались на основе совместной работы:

⁶⁴ Смирнов И.П. Социософия революции. – СПб, 2004

⁶⁵ Смирнов И.П., ук.изд., с.366

⁶⁶ «И легальные, и иллегальные неформальные коллективы и впрямь содержат в себе реликты сельской общины» (Смирнов И., ук.изд., с. 365)

«В своей легальной версии иносоциальность часто оказывается взаимовыручкой людей, по одиночке бессильных превозмочь институционализированную власть (их, как говорится, социальным капиталом)»⁶⁷.

Понятие «дружба», которым Игорь Смирнов именуется стилистику отношений в неформальных коллективах, было бы неточным применительно к Братску. То, что Смирнов выделяет как наиболее существенное для понимания основ существования неформального коллектива «в дружбе мы находим не Другого, а себя-в-Другом, не подчинение, а равенство» – применимо в полной мере. Совпадения с поведенческими моделями, реконструируемыми Смирновым, в том, что коллектив представляется результатом выбора – человек, выбрав новую стройку, так или иначе выбрал тех людей, которые, как и он, решились приехать сюда. Но границы коллектива размыты, они включают и тех, кто не является товарищем по работе или соседом по быту. «Люди свои» – не только те, кого ты знаешь в лицо и по имени. Поэтому понятие *солидарность* более уместно, чем слово *дружба*.

Солидарность предполагает равенство не как абстрактную цель, а как условие общения людей. Солидарность – сопротивление идеократии, поскольку основана на принятии человека таким как он есть, независимо от анкетных данных. Если идеократия осуществляет селекцию памяти, заставляя стыдиться, утаивать, мимикрировать, то в сообществе, основанном на солидарности, память принимается как то, что неделимо, что неотъемлемо от человека и всегда индивидуально. «Здесь у каждого своя какая-то история», как заметил Виктор Г. (Усть-Илимск, 1962 г.р.).

Солидарность никем не предписана и не является результатом протеста или сопротивления. Нормы солидарности вырабатываются, транслируются вновь прибывшим, отличают сообщество «первостроителей» от того аморфного «большого» общества, в котором жили те, кто приехал.

Примером выработки норм может служить такая повседневная бытовая практика как отсутствие замков. О том, что на стройках коммунизма не замыкались чемоданы и тумбочки, а затем дома и квартиры, мы знаем из газетных очерков, кинофильмов и поэм.

⁶⁷ Там же, с. 363

«Давней осенью в одном из железногорских домов я увидел прикрепленную к двери квартиры записку: «Ребята! Или кто придет! Ключ в почтовом ящичке, чай, сахар, масло в тумбочке. Пейте чай. Будьте как дома. Л.И.» После знакомства с Хозяйкой выразил «удивление по поводу рискованной, на мой взгляд, практики открытых дверей: народ на стройке разный.

– Два раза уносили кое-что. Но я не придаю значения. Большинство же – замечательные ребята. А некоторые придут и деваться не знают куда. Пусть у меня немного поживут, а там, глядишь, и устроится жизнь»⁶⁸.

Ни один мой собеседник в интервью не упоминает об этой практике, но в ответ на специальный уточняющий вопрос подтверждают как само собой разумеющееся. Иногда в рассказе о палаточном периоде упоминают, что деньги могли просто лежать на виду или в самых неожиданных местах:

«Что характерно, покупать было нечего. У всех под кроватью стояли то ли чемодан, то ли балетка, набитая деньгами. И все уходило из палатки – у нас Зюбина была с ребятами, а в остальных никого – и никто не воровал» (Клара Т.)

Другой пример – взаимный обмен умениями в обустройстве быта. Вот первые недели после заселения первых жилых домов:

«Потом начались поделки: трубы гнут – делают кровати. Пружинные матрасы. Этажерки делают. Табуретки делают. Всё друг другу заказывали: «Гена, сделай мне приемник – что-то не работает» (Клара Т.)

Бывшая учительница вспоминает:

«Мы решили устроить праздник, посвященный Пушкину... А ничего же не было – никаких штор и т.д. Зал маленький. Родители несли покрывала, простыни. Костюмы сами шили – ребята, родители, учителя. И получился у нас такой спектакль, такой концерт...» (Людмила З.)

А вот ежедневное событие – обед тех, кто работал на плотине, в единственной столовой:

«-Обед был у всех в разное время?

– Что ты?! В одно! Открывается она в 12 часов, на улице народ стоит, не знаю, сколько. И главное дело, стоит толпа у дверей и надо выбрать такую точку, чтоб тебя – чик – и вы-

⁶⁸ Шугаев В. Кое-что о сибиряках. – М.: изд-во «Советская Россия», 1975, с.63

толкнули туда, как пробку. Но если ты оказался где-то около дверей, около обочины – всё, тебя сомнут.

– А как за час поестъ успеть?

– А так. Бригада посылает одного человека – он там стоит, занял очередь, и к нему (свои) идут-идут. (Ещё) один держится за стул – стульев не хватает, другие стоят за ложками, третий стоит за двухсотграммовой банкой – для компота, еще за чем-нибудь. И стыдно долго кушать – с подносом стоят и ждут, когда уйдёшь» (Клара Т.)

Солидарность – взаимоподдержка в преодолении экстремальных условий и в повседневном быте, сплоченность в выполнении социальных обязательств (в т.ч. и трудовых, понимаемых как социальные) и в создании условий совместной жизни. Важнейшая характеристика солидарных отношений – антисословность.

Важнейшая характеристика солидарных отношений – антисословность. С этой точки зрения показателен эпизод воспоминаний, который уже был приведен в статье – осуждение старшими коллегами практиканта, не пожелавшего пойти на нарушение техники безопасности, обыденное для них (и производственно необходимое). В данном апокрифе можно прочесть и «антисословные» мотивы. Их не стоит преувеличивать – главный инженер, сын которого был пристыжен, пользовался безусловным авторитетом и одна из обязательных его характеристик в воспоминаниях – демократизм. Но, вероятно, если бы речь не шла о сыне руководителя, эпизод не запомнился бы столь прочно. Так или иначе, практикант был «поставлен на место», было подчеркнуто единство требований. Сословные различия проблематизировались не потому, что как-либо демонстрировались, а потому что эта тема была существенна за пределами «ударной стройки». Скорее, можно принять версию демонстративного нежелания считаться с сословностью и подчеркивание таким образом исключительности социального мира Братска.

На фотографиях, где запечатлены трудовые коллективы, никаких признаков иерархии. Руководители среднего звена ходили в той же самой одежде, что и рабочие – в рваных телогрейках, подшитых валенках. Естественно, что сословные перегородки не устанавливались и за пределами производства:

«- У ребят не было деления – кто чьи дети?»

– *Нет. У нас были и дети больших начальников. Я имею в виду нашу школу» (Людмила З.).*

Свидетельства столкновения строителей с начальниками, разумеется, есть в воспоминаниях. Как и свидетельства о сословных привилегиях (в основном, относящиеся к более позднему периоду), но нас интересует факт вытеснения подобных сюжетов на периферию воспоминаний как нехарактерных. Характерным для атмосферы стройки признается то, что свидетельствует о равенстве и солидарности. Для семидесятых-восемидесятых годов, когда сословность советского общества стала откровенной, в молодых городах это воспринималось особенно остро – как измена недавним общим идеалам.

Идеал общинности, тяга к ней играет значимую, конституирующую роль в этом создании социальности, но общинность не копируется – это процесс не столько воспроизводство каких-то образцов, сколько импровизация в соответствии с идеалами поколения и социальными ожиданиями маргинального человека. Социальность создается заново. В этом творчестве есть импровизация равенства (явный индикатор – антисословность) и есть солидарность, которую можно назвать солидарностью маргиналов. Автономия, самоценность личности согласуются с социальным признанием, с определенностью положения и с общинностью. В взаимоподдержке и сплоченности важную роль играет принятие друг друга со всеми сложными биографиями, социальной и образовательной разностью. Вячеслав Шугаев в очерке цитирует бывшего москвича, обосновавшегося на Усть-Илиме⁶⁹: *«люди здесь основательно, что ли, друг к другу относятся. Неторопливо»*⁷⁰.

Через формирование коллектива, через солидарность происходит обретение человеком идентичности, не отменяющей прежней, но не менее значимой, чем она, не требующей отказа от прошлого, но обеспечивающей участие в настоящем.

«Человека определяли – хороший человек или злой, или нечестный. Только так. А кто он там – татарин или русский, или

⁶⁹ Усть-Илимск – название, официально установленное в 1973 года при преобразовании рабочего поселка Усть-Илим в город. Топоним Усть-Илим прочно закреплен в исторической памяти, текстах песен, рассказов и очерках шестидесятых годов.

⁷⁰ Шугаев В. Кое-что о сибиряках, ук. изд., с.10

еврей – никакой даже мысли не было. Никто и не спрашивал, кто ты и откуда. Работали». (Николай Д.)

Эта краткая фраза многозначна. В интервью она прозвучала в заключение – одна из тех фраз, которые собеседник добавляет к своим ответам, чтобы выделить смыслы сказанного ранее или добавить что-то очень существенное к сказанному. Вопрос о национальности в интервью не задавался. И фраза свидетельствует о том, что, во-первых, национальность всё же отмечалась, во-вторых, не была, по мнению респондента, посылкой для социального признания или отторжения, и, в-третьих, что сам факт изменения функций этничности воспринимался как признак, если не исключительности, то особенности «коллектива стройки».

На материале Усть-Илимска реконструируется аналогичная картина – уже в других социальных условиях, при других критериях. Национальная принадлежность человека не акцентируется окружающими, не служит для самого человека инстанцией, придающей значение – иерархии национальностей нет. Но непременно отмечается как индивидуальная характеристика. Богатство и индивидуальность памяти активно участвовали в складывании межчеловеческих отношений, были символическим капиталом, не менее значимым, чем тот, который связан с производственной или стратовой иерархией. Прошлое каждого человека, даже если оно не артикулировалось, активно прочитывалось окружающими.⁷¹

Десакрализация системы Один из устойчивых стереотипов в рассмотрении отношений «власть-народ» в России – усмотрение в сакрализации власти некоей национальной традиции:

«Советская ментальность впитала в себя расхожие стереотипы (образы) власти, которые существовали в массовом сознании на протяжении столетий. Нетрудно отметить, что в массовом сознании середины XX века присутствуют главные признаки сакрализации власти»⁷².

Трудно согласится с этой отсылкой к национальной традиции – автор её не обосновывает. Не включаясь в дискуссию, которая увела бы от темы статьи, заметим только, что, во-первых,

⁷¹ См. Подробнее: Рожанский М. Память города без прошлого// Биографический метод в исследованиях постсоциалистического общества. – СПб: ЦНСИ, 1997, сс.58-62.

⁷² Зубкова Елена Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. – М.: РОССПЭН, 2000, с. 172

в данном тезисе проступает метафизическая дихотомия «власть/народ», а, во-вторых, что в советской социальной истории достаточно собственных оснований для сакрализации власти. Маргинализация, разрушение человеческих связей, общинной солидарности замыкает каждого человека в решении любого вопроса на «вертикали власти» (что очень хорошо показывает Е.Зубкова в своей книге на материале писем), заставляет вкладывать ожидания в людей, персонифицирующих власть, идеализировать их – сакрализируя или демонизируя. Сакральная власть оказывается необходимой как жизненная опора, как надежда для человека, любые другие опоры которого ненадежны и хрупки. И в этом феномене важную функцию выполняет привилегия на информацию, знание исторических смыслов

Елена Зубкова отмечает, что в отношении советских людей к власти «властный спектр четко делится на власть верховную и местную. Местная власть не пользуется никаким доверием народа, поскольку «там правды не найдешь». Единственный источник правды и справедливости – власть верховная, причем обязательно персонифицированная: раньше апеллировали к царю, теперь к Сталину, или, по крайней мере, его ближайшему окружению»⁷³.

Ситуация в Братске разительно отличается от этой картины, что ни в коей мере не опровергает выводы Е.Зубковой за исключением тезиса о том, что сакрализация верховной власти традиционна. В случае Братска мы можем видеть процессы десакрализации именно верховной власти. Четкое деление власти на верховную и местную⁷⁴ при этом сохраняется, но верховная власть, скорее, десакрализуется, а «своё» начальство, скорее, наделяется чертами исключительности.

Яркий пример десакрализации власти – эпизоды пребывания в Братске руководителя СССР Н.С.Хрущева, которые я пытался реконструировать на основе фокусированных интервью. Импульсом для расспросов было желание прояснить миф, ходивший в Иркутске в начале и середине шестидесятых годов, кото-

⁷³ Зубкова Елена Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. – М.: РОССПЭН, 2000, с. 172

⁷⁴ Конечно, то, что происходило в Братске, было и частью того процесса десакрализации верховной власти, которые происходили в стране (см., например, что Алексей Юрчак пишет об утрате «трансляторами объективной истины» полномочий на авторство этих истин – Yurchak A., *Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation.* – Princeton University Press, 2005, p. 14)

рый можно назвать «как Хрущева не пустили включать Братскую ГЭС». Сюжет мифа: когда Хрущев приехал в Братск «пускать ГЭС», возмущенные рабочие не пропустили его к плотине и знаменитые кадры, на которых Никита Сергеевич поворачивает рубильник, кинооператоры снимали на другой ГЭС. Миф обрастал деталями – чем возмущались рабочие (своим положением или политикой в стране), где была киносъемка (на Иркутской ГЭС или в Сталинграде). Но ни в одной из версий не говорили о каких-либо репрессиях против рабочих – миф переплетался с героизацией строителей Братска, за ними признавалась сила, настолько серьезная, что они могут заявлять правду и постоять за себя.

Выяснилось, что в мифе были сведены эпизоды из двух разных визитов Хрущева. Он посетил Братск 8 октября 1959 года после своей знаменитой поездки по США и визита в Китай. Митинг, на котором строители ГЭС предъявили советскому руководителю свои претензии к условиям быта и снабжению, состоялся именно тогда. А его неожиданный и скоротечный визит, в ходе которого был кинодокументирован запуск первого агрегата ГЭС, состоялся в ноябре 1961 года. В рассказах о митинге Хрущев предстает раздраженным, не сумевшим найти «общего языка» с братчанами, собравшимися на встречу с ним.⁷⁵ Первый секретарь обкома КПСС выглядит растерянным и жалким, если не сказать, ничтожным, а начальник БратскГЭССтроя Иван Наймушин – выдержанным и достойным на фоне приехавших «первых лиц». Хотя претензии братчан, вызвавшие раздражение Хрущева и растерянность руководителя Иркутской области, касались снабжения Братска продуктами и товарами первой необходимости, то есть вполне могли быть предъявлены и «первому лицу» Братска⁷⁶.

⁷⁵ По различным опубликованным воспоминаниям Никита Сергеевич в раздражении ехал из Пекина и вел себя раздраженно в Иркутске, где, вообще, отказался от участия в митинге, собранном на Иркутской ГЭС.

⁷⁶ На послевоенных ударных стройках формировался новый тип хозяйственного руководителя с особыми амбициями и способного к импровизации методов социального управления. Методы были по-советски патерналистские, но альтернативные как сталинистским (поскольку не ориентировались на репрессии), так и формально-бюрократическим, характерным для последующих советских десятилетий. В решении возникавших на стройке задач особое место занимала апелляция к ценностям коллективизма и индивидуальной ответственности перед коллективом – «маленьким» и «большим». Эти методы оказывались эффективными. Внешняя власть наделена признаками

Работа на «передовой» и экстремальные условия жизни давали санкцию на то, чтобы нарушать норму, которую невозможно было бы нарушить на «большой земле». Например, в «палаточном Братске», насколько могу судить, даже не прошла и общесоюзная «закрытая читка» доклада Хрущева.⁷⁷ Вспомним, что и товарищей Клары по палатке не «призвали к порядку» из-за их атак против репродуктора: «затыкать» голос из Москвы не мешали, хотя порядок не пересматривали и репродуктор чинили исправно. Эта ситуация может быть описана формулой «семантический коллапс «коммунизма». Формулу употребили Геннадий Батыгин и Мария Рассохина в статье, основанной на анализе источника совершенно другого ряда – журнала «Новый мир» пятидесятых годов.⁷⁸ Два десятилетия происходила тривиализация коммунистической речи – от текста, созданного большевистским романтизмом, к «расколдовыванию» светлого будущего.⁷⁹ Энтузиазм и эмпфаза вытеснялись из коммунистической риторики, глоссолалии подвижничества⁸⁰ вырождались. В пятидесятые годы, констатируют авторы, «коммунистическая идея представляла собой уже не подвиг и дерзновенную мечту, а рутинный модернизационный проект»⁸¹. Программа построения коммунизма (т.е. новая Программа КПСС), которую Батыгин и Рассохина называли образцом новой коммунистической речи – «язык техпром-

бездарности, мелкотравчатости. «Свои» командиры – культовые фигуры, чему способствовал их демократизм (доступность) и патерналистская забота, контраст с аппаратчиками. Респонденты вспоминают как просто и в интересах дела, без оглядки на формальные требования решались вопросы кадровые. Такая стилистика была принципиально новой по сравнению с прежним опытом строителей, но новизна была узнаваемой – реализовывался идеал «отцов-командиров» и боевого товарищества, особо значимый для подростков военного и послевоенного времени.

⁷⁷ Съезд пришелся на первую зиму строительства (и быта строителей), и я специально спрашивал о том, как был воспринят «секретный» доклад. Собраний с зачитыванием доклада на строительстве либо просто не проводили, либо предельно сузили круг участников такой читки. Это косвенно подтверждает, что формировавшийся коллектив строителей ГЭС оценивался как концентрация социально-активных людей с потенциалом социального протеста или столкновений (скажем, между освободившимися из лагерей и бывшими сотрудниками карательной системы).

⁷⁸ Батыгин Г., Рассохина М. Семантический коллапс «коммунизма»//Человек, 2002, №6, сс.61-77

⁷⁹ Дискуссию об «искренности» в литературе, начатую «Новым миром», авторы считают реакцией на это «расколдовывание» – см. Батыгин Г., Рассохина М., ук.изд., сс.76-77.

⁸⁰ В данном контексте можно определить как риторические фигуры или словосочетания, нагруженные ритуальными и магическими функциями, но не транслирующие смыслы и не развивающие содержание.

⁸¹ Батыгин Г., Рассохина М., ук.изд., с.77

финпланов» – была принята «тогда, когда «коммунизм» присутствовал в публичной речи как разновидность всем известной, но необходимой лжи».⁸²

Стивен Коткин исследовал, как участники «великой стройки» овладевали новым, советским языком, становились его носителями⁸³. Если с позиций концепции Г.Батыгина и М.Рассохиной рассматривать ударные стройки, развернутые во второй половине пятидесятых, то есть между двадцатым съездом КПСС и провозглашением программы построения коммунизма, они представляют исключительный материал для отслеживания судьбы идеократии. С одной стороны, результат и свидетельство энтузиазма и подвижничества, а с другой – передовая модернизации, место, где техпромплан является ежедневной целью. Было или нет здесь ощущения коллапса, судить трудно. Возможно, для кого-то и было – в некоторых интервью проскальзывает снисходительное (иногда, слегка презрительное) «комсомольцы» по отношению к тем, кто приехал в составе разного рода «отрядов», но не удержался на стройке. Встречается также (причем, в противоположных коннотациях) определение «правдолюб». Но, в целом, став повседневностью, энтузиазм и подвижничество, освободились от идеологического оформления без видимого напряжения. В песне Добронравова и Пахмутовой, ставшей неофициальным гимном строителей Братска, эта эмансипация от идеологии найдет своё выражение в интонации извинения: «так уж вышло, что наша мечта на плакат из палаток взята...».

На передовом крае преобразования страны формировалось социальное пространство, которое было одной из зон риска для идеократии. Конечно, здесь – в отличие от столиц – «диссидентская атака на уже мертвый «коммунизм»⁸⁴ возникнуть не могла, но остранение идеологии и системы власти, сакрализованной идеологией, было неизбежным. Дистанция географическая оборачивалась не столкновением мировоззрений, но мировоззренческой дистанцией. Мобилизация людей на ударные стройки как исторические свершения «родины социализма» обернулась одним из способов разрушения идеократии. Мобильность «со-

⁸² Батыгин Г., Рассохина М., ук.изд., с.77

⁸³ Kotkin St. op.cit., ch. "Speaking Bolshevik".

⁸⁴ Выражение Батыгина Г. и Рассохиной М. – цит.изд., с.77

ветских номадов» была и поиском своего места, и формой ухода, и способом остранения социально-политической системы.

Участие в исторических стройках оказывалось одновременно дистанцированием от тех, кто сохранял право озвучивать исторические смыслы. Выразительная метафора этой социально-исторической ситуации – эпизод торжественного запуска Н.С.Хрущевым первого агрегата ГЭС, кинорепортаж о котором стал одним из дежурных визуальных символов курса на строительство коммунизма. За последние годы опубликованы свидетельства участников события,⁸⁵ и мы знаем, что визит руководителя СССР не был запланированным и был кратковременным, иначе говоря, был одной из импровизаций Н.С.Хрущева, придавшему запуску ГЭС особое значение символического акта.⁸⁶ Мы знаем и то, что акт этот был не только символом, но и имитацией: рабочий запуск негласно состоялся до приезда Хрущева. Свидетельство Клары Тимониной, готовившей по долгу службы ключевую часть события, делает метафору «запуска величайшей стройки» еще более объемной:

– Так включал Хрущев первый агрегат или нет?

– *Кто бы ему дал!? Представь щит управления – релейная защита там и всё. К нему подвели от постороннего источника напряжение, чтобы закрутить ротор. То есть возбуждение дали от постороннего источника, генератор крутился, а ток не выдавал – выхода не было. Хрущев повернул, и вольтметр показывает «Ток пошел!». Приоткрыли затворы – на лопасти по-падало, закрутилась турбина.*

– *А Хрущев знал, что это имитация?*

– *Может, и знал. Не знаю.*

Степень автономности сообщества была такова, что участница событий могла не знать о том, был ли руководитель партии и правительства в курсе имитации символического акта. Очевидно, что этот вопрос либо не обсуждался участниками инсценировки, либо ответ на него значил не так много, чтобы запечатлеться в памяти. Социальное пространство, созданное людьми,

⁸⁵ См., например, <http://bratska.net/?doc=1946> ; <http://expert.ru/siberia/2011/47/polveka-v-stroyu/>

⁸⁶ Пуск состоялся 28 ноября 1961 года, то есть всего лишь через месяц после завершения 22 съезда КПСС, принявшего новую Программу партии – «программу построения коммунизма в СССР».

решавшими историческую задачу, было настолько дистанцировано от сакрального пространства власти, что встреча этих двух социальных миров, их совмещение-без-подчинения друг другу, породили одну из самых объемных метафор «вертикали власти». Участие «вертикали власти» свелось к «ручному управлению» в крайне ограниченных пределах. Существенной является и ещё одна метафора из кинохроники – крупный план приборов щита управления, на котором «задергались стрелки» (выражение Клары Тимониной) после исторического поворота рукоятки: выразительный образ «обратной связи» на имитационное воздействие руководства.

Путаница в воспоминаниях между событиями, относящимися к разным визитам Хрущева, очень характерна. Также смутно припоминали визиты других советских руководителей, независимо от симпатий и антипатий, сложившихся тогда. Но все готовы эмоционально и очень подробно говорить о приезде Фиделя Кастро – революционный лидер оказался явно созвучен социальной атмосфере молодого Братска.

Историческая мобилизация. Для понимания того, что представляли собой стройки коммунизма как человеческий мир, особенно значимо, что советский человек – это готовность к мобилизации. «Величайшая в мире» – знак соревнования систем, начавшейся гонки в достижениях с Америкой, данной формулой определялся главный исторический смысл стройки в Братске с конца 50-х годов. И не менее важный исторический смысл – преобразование нетронутых прогрессом просторов. Сибирь была поприщем для социального признания и самоутверждения молодого человека. Историческая миссия становилась частью коллективной идентичности, особенно значимой для тех, кто приехал на стройку из больших городов – участники строительства чувствовали себя представителями современности в таежном крае, глухомани. Перед ними стояла задача не экономическая, а историческая. Основной аргумент необходимости строительства Братской ГЭС – выполнение планов освоения Сибири, а отнюдь не неотложная потребность в электроэнергии. Ударная стройка в Братске была формой исторической мобилизации, которая оказалась достаточно ёмкой для тех, чья социальная и трудовая активность окрашены романтизмом, для тех, кто проходит соци-

альную реабилитацию и для тех, кто стремится на основе собственных усилий создать условия для самостоятельной жизни.

Для послевоенных подростков, «опоздавших» на войну Отечественную, один из главных вопросов «А как поступил(а) бы в войну» – героизм оставался главным и безусловным доказательством человеческой доброкачества. Между интервью, которые цитируются ниже, два дня. Клара Т. говорит об одном и том же времени. Но сказанное ей могло прозвучать и с диапазоном в несколько минут – для неё здесь нет противоречия. Эпизод из воспоминаний о деревне:

«В сорок девятом году, конец августа – сидим, ужинаем. Говорю: «Мама, я сбегу из колхоза» «Беги, не бойся – не бойся, Клара, тюрьмы – там кормят».

Фрагмент из воспоминаниях об атмосфере на стройке:

«Время такое было. Не народ, а чудо!

– Может потому, что Вы из деревни вырвались, из крепостного права?

– Мы признавали это крепостное право, потому что война недавно кончилась. Из деревни дезертиров было полно, скрывались в лесах. Банд сколько было. А сколько предателей было. И это всё знали. И отношение западных украинцев, и что сделали татары крымские».

И чуть позже об отношениях на стройке:

«Задавался невольно вопрос: может предать или нет, в разведку с ним пойдешь или нет. А сколько комиссаров стреляли в спину и командиров. Всё это знали».

«Связка истории и человека, – пишет Мамардашвили, – определяет современность»⁸⁷, а наличное советское в цитируемой статье он рассматривает как несовременное. Но из контекста следует, что для Мамардашвили связка истории и человека – от-refлектированное участие в истории, когда история является для человека полем драмы. Такое четкое антропологическое рас-слоение естественно в социально-философском анализе. Однако в конкретном социально-историческом исследовании не только рациональное, но и иррациональное предстает как «связка с историей». История интериоризирована настолько глубоко в личность человека, выросшего в советский период, что если лишь

⁸⁷ Мамардашвили М.К., ук.изд., с.21

для немногих она (история) – поле драмы, то для очень многих её смыслы существенны при мотивации поступков, решений, выборов, при этом будучи слабо отрефлектированными или вообще не подлежащими критическому восприятию. Именно неразвитость самостоятельной исторической рефлексии дает повод к тому, чтобы сводить «советское» в сознании людей к результатам тотальной идейно-воспитательной обработки. Но ощущение исторических сдвигов, претерпевание истории и связывание с историей надежд, как и стремление к социальным идеалам – все это много глубже, чем то, что могут формировать пропаганда и воспитание.

Право на «советское» (определять, что является им, а что нет) узурпировала власть, это и называется идеократией – основные инструменты социального управления были апелляцией к историческому человеку. Даже политический террор в большой степени обеспечивался обращением к массам от имени истории, а такой ресурс как энтузиазм всегда оформляется и/или провоцируется историческим значением выполняемых задач.

Советская цивилизация была сменой признаков «своего» и это смена давала возможности колоссальной мобилизации как на основе исторических смыслов, ставших экзистенциальными, так и с помощью социального управления (манипуляции – с оговоркой, что сами манипулирующие могли чувствовать себя не манипуляторами, а полпредами истории). Цель – новый мир, новый человек, новые отношения – не была выдумана в штабах революции, она естественно произносилась и принималась многими людьми, которые желали быть «новыми» и, более того, имели опыт обновления своего статуса, условий своего существования, опыт делания своей жизни и самих себя, соответствующие идеалы из жизни и литературы. *Советские идеалисты* – те, для кого эта зависимость воспринималась как счастливый шанс самореализации. еще и непременно личное участие в преобразовании. Кто-то воспринимал этот шанс как выпавший по праву рождения (Страна! Эпоха!), кто-то связывал этот счастливый шанс с собственным выбором в пользу великой стройки и нового города.

Центральное место в ценностном мире советских идеалистов занимают не неясный и далекий коммунизм, а внутренняя гор-

дость за мессианскую роль страны, дающую и тебе шанс на личное участие в авангарде истории, увлеченность модернизацией жизни, то есть масштабным по всеохватности просвещением, гигантскими стройками, покорением пространства, покорением природы. Высокая степень зависимости от политических процессов претерпевалась большинством людей, живших в советское время, и воспринималась как зависимость от истории. Это чувство плотной связи с историей (если позволено, антропологическая власть истории над человеком) самым радикальным образом воплощалось в идеологии социалистических стран и поэтому возникает некий оптический обман, когда эта зависимость воспринимается как результат воздействия коммунистической идеологии. Но высокие темпы социальных изменений, просвещение, распад традиционного общества и радикальное социальное переструктурирование, урбанизация, то есть социальная модернизация разворачиваются в иной исторической длительности, нежели ограниченные сроки собственно советской истории. И социальный идеализм рождается не вместе с революцией, он обретает советскую форму и плотно – до срачивания скрепляется с ней, что, возможно, продлило системе жизнь, но оказалось и одной из самых мощных причин её разрушения.

После коммунизма Для осуществления последних всесоюзных ударныхстроек, в т.ч. Байкало-Амурской магистрали, промышленных объектов в Усть-Илимске (и, собственно, города Усть-Илимска) поколение людей, родившихся в пятидесятые годы было опорным. Десталинизация была социальным контекстом, в котором формировались люди этого поколения. Литература, кино, институты воспитания и воспитание неформальное транслировали пафос революционного обновления мира, романтизацию «очищаемых» идеалов. Разоблачение «культы личности» для этого поколения не было событием, а было знанием, подтверждавшим естественный ход прогресса. Потенциал исторической мобилизации сохранялся, и целеустремленная личностность была героем эпохи⁸⁸.

⁸⁸ Мир шестидесятых рассмотрен П.Вайлем и А.Геннисом в их книге как мир взрослых людей: шестидесятников, молодежи, покоряющей целину, Сибирь и науку. Лев Аннинский в статье, включенной как послесловие в одно из изданий книги, передает этот мир формулами «концентрация энергии», «мания восхождения», «опьянение мировой культурой, опьянение мировой революцией», «опьянение соперничеством с главной державой Запада» (Аннинский Л., Пальмы на айсберге//Вайль П., Генис А. 60-е. Мир

В шестидесятых годах «стройки коммунизма» и новые города были очередным воплощением антропономических⁸⁹ намерений советской власти, выраженных в проекте «нового человека». Формула «строитель коммунизма» (как синоним «нового человека») была одним из основных звеньев пропагандистского обеспечения «ударныхстроек». Но сам язык пропаганды уже был чужим для тех, кого пропаганда воспевала. Великие стройки семидесятых осуществлялись прежде всего поколением, выросшим в шестидесятые, но в социальной атмосфере резко отличающейся от эпохи десталинизации и «рывка в коммунизм», а именно в эту эпоху происходила первичная социализация людей этого поколения.

Кристофер Уорд (Christopher Ward) в книге, посвященной последней советской «великой стройке» – Байкало-Амурской магистрали⁹⁰ – рассматривает «советское» уже в ситуации кризиса. Для автора БАМ как экономический проект и БАМ как социальный феномен служит голограммой позднего советского социализма. Противоречия советского мира (или цивилизации, если использовать понятие St.Kotkin) проступают рельефно: «стройка века»/folly; пафос преобразования/застой; идеалы/аморализм; интернационализм/дискриминация по национальному признаку; гендерное равенство/дискриминация женщин. Молодые люди, которые уезжали от проблем той жизни, которую изменить уже было нельзя, в место, где преобразовывалась “*virgin territory*”, с надеждами на новую жизнь, отчетливее видели эти противоречия и не хотели мириться с ними⁹¹.

К семидесятым смягчился пафос самовоспитания – такие резкие формулы как «переделать себя», «настоящий человек», «человек будущего» плохо совместимы с процессами индивидуализации, с автономизацией личной жизни. Но отстаивать право на личный выбор, утверждать достоинство самостоятельного че-

советского человека.цит.изд, сс.333, 334) Для подростков шестидесятых это был мир, каким он должен быть – энергичным, восходящим, наполненный романтикой борьбы и освобождением народов, иначе говоря, естественным следствием революции и разгрома фашизма.

⁸⁹ Антропономическая революция – стремление изменить основы воспроизводства человеческой жизни (термин введен Даниэлем Берто)

⁹⁰ Ward, Christopher. *Brezhnev's Folly: The Building of BAM and Late Soviet Socialism*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.

⁹¹ Ward Ch., op.cit., ch. “Prometanism versus Conservationism on the Railway” (pp.12-41),

ловека, стремиться принести «общественную пользу» – это тоже испытывать себя трудностями, искать «трудное счастье»:

«Наверное, то плохое, что я получила, то с чем трудно жить сейчас, т.е. от времен «оттепели» я получила такие вот основы коммунарского движения, т.е. они в душу-то попали, видимо, выросли там, а окружающая действительность им не соответствовала. Т.е. это нужен был какой-то риск, который как бы... или не сталкиваться с окружающей действительностью, а если и сталкиваться, то может это как-то объяснить вот эту вот привычку все брать на себя: Сделай так, что бы другим было хорошо» (Наталья Т., 1949 г.р.)

Представители этого поколения еще реже, чем добровольцы начала шестидесятых, верили в коммунизм как общественный строй, но, как правило, верили в свои силы и в способность жить иначе, чем живет страна «реального социализма»:

– Получается, что вы на Тынду попали в самом начале стройки?

– Да, самое интересное время. Там такие люди собрались. Там был такой мир, который мне напоминал студенческий шестьдесят пятый год, когда я поступала в университет. Какие-то тусовки своих людей интересных, споры, гитара, походы обязательно. Там еще были люди непринятые. Как сказать? Талантливые, но отвергнутые. Странники были там. Ребята рабочие, без образования, но образованнее образованных. И приходишь к ним – тебя или принимают или не принимают. И если принимают, они сразу становятся родными. (Татьяна К., 1947 г.р.)

Отстраненность от «большой земли», остраение её правил и норм, рационализация своего отъезда с этой «большой земли» – все это задавало жесткую границу между миром, предполагавшим доверие и искренность, и миром, допускавшим лицемерие. В семидесятых годах отношения с идеологией и с «большим обществом» были далеко не однозначны и могли принимать форму столкновения и даже противостояния.

– А идеологический шум не мешал? «Тында – столица БАМа» и подобное?

– Как не мешал? Меня вызывали в соответствующие органы. И вплоть до того, что аморалку шили. Всё это было, знаете,

страшно. Но именно там я поняла, что не сломаюсь ни за что. Но тогда это было где-то на лезвии, на грани лезвия, потому что помню это унижение. (Татьяна К., 1947 г.р.)

Молодые города не были оазисами, свободными от идеологического администрирования, но если давление или даже преследование происходило, подобные случаи описываются как столкновение между идеализмом, обретшим практическое поприще (интересное полезное дело, увлеченность и вовлеченность людей) с идеократией – абстрактной, дегуманной и часто персонафицированной в неумных функционерах.

Концептуализируя феномен «шестидесятников», Виктор Тюпа отмечает, что это явление начиналось «с того, что у все более значительного числа советских граждан обнаруживается, по выражению Окуджавы, «некоторая отстраненность» от ролевого присутствия в мире, позволяющая «оставаться самим собой».⁹² Основываясь на «столичном материале», автор прослеживает, как драматизм двоедушия («официального» и «неофициального»), столь характерный для «шестидесятых», постепенно трансформируется в семидесятых в циничное разделение официального и неофициального миров, с присущими этим мирам собственными «правилами игры». Для В.Тюпы различие между десятилетиями связано с тем, что «в 1960-х годах такая отстраненность и восстановление изгнанного из советской ментальности чувства собственного достоинства еще не переросли в эгоцентризм «неофициального» Я-сознания».⁹³ В этом пункте роль «географической дистанции» и оказывается принципиальной. Отстранение могло выражаться не только в «эгоцентризме «неофициального» Я-сознания», но и в уходе от двоедушной современности в иное пространство, к перемещению туда, где принципы жизни и общения не напоминали игру по правилам. Туда, где можно было даже участвовать в создании среды, не предлагающей цинизм как норму.

Смыслеобразующая роль «великих строек» для человека, участвующего в ней, сохранилась, несмотря на явный диссонанс между коммунистической риторикой и повседневностью. «Двой-

⁹² Тюпа В.И. Кризис советской ментальности в 1960-е годы.// Социокультурный феномен шестидесятых. – М.: РГГУ, 2008, с. 19

⁹³ Там же

ное рождение» Усть-Илимска⁹⁴ – прекрасное доказательство преемственности и различия семидесятых и шестидесятых. Можно сравнить два поколения, два слоя социальной жизни в городе: «коллективисты»-энтузиасты 1960-х и «индивидуалисты» 1980-х⁹⁵. В обоих случаях речь идёт о выработке соотношения между индивидуализмом и общинностью. Мера индивидуального и коллективистского ищется заново – от давления ритуального коллективизма до сохранения ситуации «белой вороны», но на миру.

Мир молодых сибирских городов отличался от «столичных» шестидесятых и семидесятых прежде всего реализуемостью идеала. Идеал этот не стоит путать с идеологическими целями, вечно отложенными на будущее. Речь в данном случае идёт об идеале человеческих отношений, который реализуется в настоящем. Одновременно с большой стройкой люди создавали социальность на микроуровне – в неформальных и полупоформальных коллективах. Людям, встретившимся друг с другом на сибирских стройках, не были чужды запросы «столичного» общества: материальное и экзистенциальное слишком плотно зависели от участия в большом проекте. Но выбрав новую стройку, человек, так или иначе, выбирал людей, которые, как и он, решились приехать сюда. «Своими» оказывались не только те, кого ты знал в лицо и по имени. «Своими» были все те, кто тоже выбрал *настоящую* жизнь.

В Усть-Илимске, Северобайкальске, Тынде восьмидесятых годов эта установка на осуществляемость идеала, на реализацию практического смысла (без медиаторов-пропагандистов, но с бескорыстными и активными лидерами) была вполне публичной и общепонятной. Циничное принятие «правил игры» не то,

⁹⁴ Как у города у Усть-Илимска было два рождения. Первое – в конце 60х-начале 70х годов – связано со строительством ГЭС, второе – на рубеже 70-х-80-х – строительство лесопромышленного комплекса (интернациональная стройка СЭВ) и «Нового города».

⁹⁵ Основная часть исследования в Усть-Илимске проходила в 1994-1996 годах на основе метода истории семей. Предметом исследования были формирование и межпоколенческая трансляция городской идентичности. Город предстал через биографические интервью прежде всего как формирующий человеческий мир, не согласившийся оставаться моноградом, где жизнь была бы подчинена градообразующему предприятию и прошлым историческим смыслам «великой стройки». См. подробнее Рожанский Михаил (1997) Память города без прошлого// Биографический метод в исследованиях постсоциалистического общества. – СПб: ЦНСИ, 1997

что не было нормой, а, скорее, общественно осуждалось – как и двоемыслие.

Процесс переоценки истории в конце восьмидесятых нанёс серьёзный удар по ощущению «исторической правоты» нового, созданного вместе с товарищами, мира. Важно, однако, то, что этот удар не затронул советского прошлого и его идеологии: ни одно биографическое интервью не даёт иллюстраций к формуле «разочарование в коммунистических идеалах», ставшей дежурной для статей о позднем советском времени. Разочарование связано с другим – с радикальным и публичным отрицанием исторического значения построенных ГЭС, заводов, Байкало-Амурской магистрали. Удар *по стройкам* был воспринят, как удар *по поколению первостроителей*...

Вместо заключения. Метаморфозы социальной энергии.

Чтобы разобраться, что такое индустриализация по-советски, французский литератор Пьер Фредерикс (P.Frederix) поехал в начале тридцатых годов на Урал и дальше – в Сибирь – а затем поделился наблюдениями и открытиями в книжке «Machines en Asie»⁹⁶. Главным открытием были энергичные люди, увлеченные преобразованием жизни, и Фредерикса крайне заинтересовал метод, с помощью которого советская власть так стремительно изменяла страну: «Kropotsky, electricien de son metier, m'expliqua la methode a sa facon: «Ce qu'il faut avant tout, pour former les peuples, c'est une bonne difference de potentiel»⁹⁷.

Главным наблюдением Фредерикса был невероятно тяжелый добровольный труд: «Rien ne les arretait, ni la glace, ni les pluies. En automne 1931, les pentes etaient si detrempees que les chevaux, a bout de forces, se coucherent. «Alors,» disent les Annales du Kouznetzktroi, «le collectif de choc rempaca les chevaux et traina pendant douze kilometres les lourdes poutres des galeries de mines, puis les eleva au sommet du Temir. Les hommes transporterent eux-memes dix mille briques»⁹⁸»

В то, что люди брали на себя лошадиные дозы работы и не только по доброй воле, но и по собственной инициативе, можно поверить, потому что в Братске или Усть-Илимске через три

⁹⁶ Frederix P., *Machines en Asie*. – P,1934

⁹⁷ Frederix P., *op.cit.*, p.99

⁹⁸ Frederix P., *op.cit.*, p.94

десятка лет дожди и обледенения тоже не были причиной для остановки работы. Рабского труда заключенных на этих стройках уже не было, как и не было особых вознаграждений за энтузиазм в нечеловеческих условиях. Слово «энтузиазм» часто используют, чтобы объяснить подобное поведение людей, а затем указывают на идейные мотивы подобного энтузиазма, приписывая магическую силу громким идеям, большим проектам, самообману доверчивых масс. Русский ученый Лев Гумилев не говорил «энтузиазм», он ввёл понятие «пассионарность». На мой взгляд, оно сродни «энтузиазму» – этаким псевдоним, который создает иллюзию объяснения, совокупное наименование для разных зависимостей и сил, которые приводят в движение народы и их лидеров. Сами факторы исторического движения так и остаются непросвеченными научным методом. Не будем об этом понятии спорить – подумаем о нем как о факте биографии Гумилева, одной из российских судеб. Сын петербургской интеллектуальной элиты, выученик старых русских профессоров, дважды брошенный в лагеря, выстраивая свою концепцию всемирной истории, считал совершенно очевидным, что люди, хотя не все и не всегда, но обретают энергию, побуждающую и позволяющую менять облик мира. Именно это объяснял европейскому литератору и современник Гумилева, сторонник советской власти, электрик Кропотский.

«Энергия» возникала и пропадала, иссякала, сменялась усталостью. Вот письмо, опубликованное в русском политическом бюллетене «Завтра», несколько номеров которого вышло в 1933 году в Париже как раз в то время, когда осуществлялся Магнитогорск («наш Магнитогорск» по выражению автора письма):

«..Разве мы отмеривали свою кровь за мощь, обустройку и будущее великой России? Но сейчас уже перетянули. Надо хомут поотпустить и дать отдохнуть. Иначе все лопнет – и в морях крови погибнет не только наша Революция – погибнет и родина Россия. Разве слепые, голодные и обиженные массы пожалеют какой-нибудь наш Магнитогорск больше, чем прежнюю помещичью усадьбу? Все может запыхать!..»

...надо по всем заводам, по шахтам, по колхозам – доказывать, убеждать, требовать: – России нужна передышка!! Дай-

те помыться, заштопать штаны, отоспаться, перекусить! А то лучшие надорвутся – что тогда понастроит шпана?»⁹⁹.

Подписано, видимо, псевдонимом – Донской. Сказано, что бывший комсомолец, деятель «правой оппозиции», перешедший границу. Помещено «в порядке информации», поскольку взгляды редакции были далеки от правых и левых оппозиций и, вообще, от большевизма. Но тем важнее для них была информация, что люди, неутомимо разрушавшие старый мир, устали.

С середины восьмидесятых годов я записываю на диктофон биографические повествования, истории семей. Характерная интонация собеседников в середине девяностых – интонация усталости. Ни до, ни после она не доминировала. Для любого наблюдателя советской жизни и для любого человека, жившего в прошедшем веке в России: «семьдесят лет коммунизма», их начало, их история, их финал – это еще и метаморфозы энергии людей, которую назовем социальной энергией. Понятие энергии – понятие философско-историческое, то есть из тех, которые обычно ближе к метафорам, чем к понятиям научным, но оно фиксирует, то, что не могут ухватить научные термины – отношения человека с историей. Определим её как *способность и готовность человека согласовывать свои поступки, свой выбор с социальными задачами, участвовать в социальных изменениях.*

Понятие «социальная энергия», тем не менее, я употребляю не только в метафорическом смысле, а обращаюсь к нему как к понятию необходимому для социального анализа, для социальной истории. Сегодня понятия «социальная энергия» нет в арсенале социальных наук и самого феномена нет в предмете социальных исследований. На заре двадцатого века, обещавшего много интересного и, в основном, созидательного, отдельные ученые – очень известные и не очень (Уайтхед, Бехтерев, Оствальд, Солвэй, Винарский) пытались подойти к энергии как социальному явлению с научной точки зрения. Но затем социология увлеклась подсчетами и классификациями, а энергия – опорное понятие для наук естественных, в науках социальных осталась не более, чем метафорой. Тем не менее, есть социальные механизмы, исследование и анализ которых позволяет понять, как возникает и как воспроизводится эта энергия. Если не громкие лозунги и высо-

⁹⁹ «Завтра», n1 (07.01.1933 г.), с.11

кие идеалы, то что побуждало людей вкладывать себя в изменение мира? Власть большевиков, безусловно, была катализатором модернизационных процессов, ломавших социальные структуры и задавших высокую степень социальной мобильности. Но была и результатом их. История советского общества наследовала двум с лишним векам формировавшейся российской империи и российского общества. Когда страна пришла в движение? Она не замирала с того момента, когда еще не была Россией, а была Московской Русью, пытавшейся расширением сохранить себя. Революция произошла в стране, где мобильность людей была правилом, а не нарушением правил. И нормой была маргинальность – несовпадение с нормами. Для раскрытия источника социальной энергии принципиально важно, что маргинальность – предпосылка к стремлению человека изменить свое место в мире. В том числе и за счет участия в изменении мира. Власть, собственно, и приняла этот факт за основу своей деятельности и целями, лозунгами, поддержкой иллюзий выразила стремление и привычку переделывать жизнь. Но к естественным модернизационным процессам (урбанизация, резкий рост количества получающих образование и т.д.) прибавила еще тотальную и постоянную маргинализацию, рассекая естественные человеческие связи – семейные, соседские, дружеские – и преследуя за них. Единственные отношения утверждались как несомненные для человека – отношения с властью.

И этот «эффективный менеджмент» лишал саму власть перспектив обрести прочную социальную опору, а социальную энергию обрекал на исчерпание. Оставим для философских трактатов вопрос о том, возможна ли в принципе антропонимическая революция. Двадцатый век и прежде всего советская история дает достаточно материала, чтобы утверждать, что она не может быть совершена историческими средствами, предполагающими подчинение человека социальным задачам. Советская история – урок поражения подобного намерения. Режим провозгласивший историческую задачу - решение проблемы равенства, пытался взять под контроль основы воспроизводства человеческой жизни. Это обернулось угрозой разрушения самих основ социальных отношений как таковых.

Во-первых, потребность маргинального человека в “своей” группе – основа принятия коллективистских ценностей как правил игры, как средства достижения и как маскировки (в том числе, от себя) осуждаемых публично целей индивидуальных. Поскольку ценности эти не унаследованы, а когда-то приняты персонально, то человек сохраняет способность дистанцироваться от них. Поэтому страна маргиналов быстро проживает идейные эпохи и обычным, даже, естественным выходом из идейной эпохи, оказывается не взаимодействие идей и мировоззрений, не согласование идей с реалиями страны, а контрастный переход в иную идейную эпоху. И когда ценности частной жизни были легитимизированы, официальные идеологические ценности достаточно быстро оказались осмеяны и отброшены.

Во-вторых, режим, приняв на себя осуществление идеала и постоянно напоминая об этой задаче, подтачивал собственные основы; именно неспособность осуществить идеал «нового человека», несоответствие этому идеалу тех, кто режим олицетворял, развели на разные дороги «советское государство» и «советское общество».

В-третьих, удержание и/или выстраивание межличностных отношений как внеидеологической, внесистемной, внеполитической солидарности – «культ дружбы» в неформальных коллективах интеллигенции, о котором пишут И.Смирнов и В.Тюпа, коллективизм первостроителей Братска или идентичность Усть-Илимска как городского коллектива – оборачивается разрушением социальных основ идеократии.

Глава четвертая.

Постсоветская судьба декабристского мифа

Часть первая. Наследники по прямой

– Когда было восстание декабристов?

– Ночью.

Ответ на выпускном экзамене в школе (1980-е гг.)

В советском культе декабристов всегда было нечто большее и основательное, нежели идеократическая риторика и то, что можно было сконструировать «сверху», это один из самых ярких примеров подпитки советской идеологии ценностями русской “высокой классики”. Да и сам этот культ вошел в советскую идеологию, когда она еще не стала советской, т.е. государственной – достаточно вспомнить, что название первой социал-демократической газеты “Искра” её основатели связывали со строкой из “Нашего ответа” Одоевского Пушкину.

Сейчас, когда советская история ретроспективно “выпрямляется”, кажется странным пietet перед дворянами-революционерами в аскетичной “стране трудящихся”, но пионеры, выросшие в малометражных хрущевках и коммуналках (во всяком случае – “книжные” мальчики и девочки), числили себя наследниками великосветских офицеров, соединивших обаяние элитарной культуры с романтикой революции. Фраза «декабристы разбудили Герцена» – фоновое знание каждого, получившего советское среднее образование. Школьники усваивали, что декабристы – «дворянский период революции», имевший развитие в «дворянском периоде русской литературы», не просто из очередной темы урока, а из самой логики школьной программы по литературе. Ленинская периодизация с конца 30-х годов (точнее, 1937 года, когда отмечалось столетие гибели Пушкина) стала формулой-каркасом, на основе которой описывался девятнадцатый век, и той исторической цепью, которая соединяла уже в школе декабристов, если не с октябрятами, то с пионерами и комсомольцами как продолжателями русской революции. В

одном из самых популярных телефильмов для подростков 80-х “Гостя из будущего” (сценарий Кира Булычова) московские мальчишки в начале первой серии ищут романтику в старом особняке, принадлежавшем, по их версии, кому-то из декабристов, и, в результате, попадают на пять серий в романтическую схватку со вселенским злом¹⁰⁰.

Парадоксальность культа декабристов не осознавалась, хотя иногда и остранилась идеологической карикатурой. Ненамеренной – вроде скульптурной композиции на станции Петровский Завод: фигура Ленина над горельефами отбывавших каторгу декабристов. Или пародийной, как в “балладе об историческом недосыпе “Памяти Герцена” Наума Коржавина: вся история русского революционного движения предстала цепной реакцией лжегеройства после того, как декабристы потревожили сонное царство России. Заметим, что сами декабристы не были поэтом осмеяны – российский интеллигент, как бы язвитель он не был, здесь останавливался¹⁰¹.

Тема декабризма была растабуирована в России в 70-х годах девятнадцатого века – вместе с пережившими сибирскую ссылку декабристами и их детьми в метрополию пришли письменные и устные воспоминания, развернувшие в общественной памяти то, что пытался напоминать из своей эмиграции Александр Герцен. Образы, прототипом которых были вернувшиеся изгнанники, появились в беллетристике, Лев Толстой начал роман «Декабристы», Николай Некрасов написал поэму о княгинях Трубецкой и Волконской.

Революционные события 1905 года и Манифест, предоставивший возможности открытого либерального высказывания, совпали с восьмидесятилетием восстания на Сенатской и декабристы были введены в родословную борьбы с самодержавием, в конституционалистскую традицию. Обозначилась и тяжба за наследство, а в 1912 году появилась статья Ленина “Памяти Герцена”, где были выделены этапы революционного движения в России. Лаконичная концепция вождя большевиков дала осно-

¹⁰⁰ Один из героев объяснил своему другу, что декабристы здесь собирались и, наверняка, где-то в доме есть тайник, в котором хранили оружие для борьбы с самодержавием. Кому же как ни декабристам мог принадлежать этот выселенный для реставрации дом, если он был явно дворянским и в тоже время “своим”, соседским?!

¹⁰¹ Коржавин Н. Время дано. Стихи и поэмы/посл.Б.Сарнова – М.: Худож. лит-ра, 1992, сс.180-182

вания к закреплению через десять с немногим лет места декабристов в советском мартирологе.

Столетие восстания в 1925 году – в пору *нэповской* свободы книгоиздания – стало основным импульсом для исследований декабризма. Именно серединой двадцатых датированы не только переиздания документов о восстании и следствии, письменного наследия самих декабристов, но и многочисленные первые публикации источников. А то обстоятельство, что столетний юбилей совпал с двадцатилетием *первой революции*, сыграл решающую роль для советской канонизации революционных дворян: придавая юбилею официальный характер, большевики утверждали свою правопреемственность в борьбе против векового гнета и нравственную легитимность революционной борьбы с царизмом. Подчеркнем это совмещение политического и общекультурного в теме декабристов, не большевиками выдуманное, но принципиально важное для советской идеологической власти: «советское» заявлялось не только как разрушение старых порядков, но и как новый этап воплощения высокой культуры России, противостоявшей миру эксплуатации и косности «высшего света» и подавлявшейся самодержавием. Поэтому закономерно, что следующий значимый вклад в канонизацию декабристов внесла другая столетняя годовщина – гибели Пушкина. Декабристы предстали в советской пушкиниане апостолами свободы, гениального певца которой убил царизм. Странный юбилей мученической смерти поэта (сто лет без гения) пришелся не только на пиковый год репрессий, но и на утверждение стабильности в программах и учебниках советской школы. В середине тридцатых школьное образование обретает литературоцентричность, основанную на истории русской классики,¹⁰² сопряженной с периодами революционного движения.

Ленинская культурная модернизация была ответом на вопросы, мучившие образованного человека в России девятнадцатого века, и память о декабристах прошла через советский век благодаря этому. Вспомним, что тот же Наум Коржавин до своей знаменитой иронической баллады посвящал декабристам лирику,

¹⁰² См.: Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. - СПб., "Академический проект", 1997, сс.146-147

пронизанную пафосом. Будучи девятнадцатилетним студентом, он заявлял о своей “зависти” декабристам:

*Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь...
..Мы не будем увенчаны...
И в кибитках,
снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.¹⁰³*

Зависть к декабристам – зависть советского юноши, воспитанная, в том числе, школьными курсами литературы и истории, культивированием Пушкина – не вопреки, а по активной инициативе власти¹⁰⁴.

Власть модернизаторская, культуртрегерская не могла не создавать историческую санкцию для себя из высокой русской классики.

В декабристской мифе выделяются три относительно автономных базовых конструкта:

- революционный порыв совестливых дворян, отвергавших крепостничество и мечтавших о свержении самодержавия;
- самопожертвование женщин, разделивших судьбу жестоко осужденных тираноборцев;
- культурное творение в Сибири.

Каждый из этих конструктов родился в контексте русской классики и общественных настроений девятнадцатого века. И все три могут быть названы *советскими* не только потому, что в советский период они вошли в культурный и образовательный минимум, а потому что их советские интерпретации оказались активно востребованными. Они «работают» и в официальном искусстве и в антиофициозном, и в элитарной культуре и в массовой, и даже в науке, где они стали фоновым знанием как для эмпирических исследований, так и для концептуальных построений.

¹⁰³ Коржавин Н., ук. изд., с.13

¹⁰⁴ Наум Коржавин был по своей более поздней оценке к моменту ареста в 1947-м, а значит, и в 1944-м, когда написал “Зависть”, абсолютным сталинистом.

Именно такие – внутренне противоречивые элементы мировоззренческих конструкций – играют особую роль, как в их устойчивости, так и в их разрушении. В устойчивости – поскольку соединяют то, что относится к разным историческим длительностям, и предлагают санкционированный властью язык для понятий, укорененных в культурной традиции. В разрушении – поскольку воспроизводят критерии, несоответствие которым этого временного, преходящего, официозного однажды обнаруживается.

Противоречивость данного обстоятельства была малозаметна в советскую эпоху, но, например, образы “первых русских революционеров” всегда сохраняли в себе, если не оппозиционный потенциал, то альтернативный официальной “классовой” историософии: непартийную эстетику и нравственный идеал, не вписывающийся в социалистическую мораль. На возникающей исторической дистанции неофициозность немудрено принять если не за диссидентство, то за антиофициозность. Не прошло и десяти лет с момента разрушения советской системы, а от молодых историков можно было услышать, что советская власть настороженно относилась к декабристам и что ими восхищались вопреки государственной идеологии. Но музеи декабристов, в том числе, и в Иркутске (а упомянутый тезис произнес сотрудник именно иркутского музея), и в Москве, и в Чите, и в небольших сибирских городах (и даже в селе Урик) открылись либо до перестройки, либо в самом её начале. Многолюдные конференции проводились при поддержке органов государственной власти, государственные издательства выпускали не только научные книжные серии («Полярная звезда» или «Мемуары декабристов»), но непременно отводили «дворянским революционерам» место и в самых тиражных художественно-публицистических: «Жизнь замечательных людей», «Пламенные революционеры», «Пионер – значит, первый».

Романтическая притча. В формуле о русских революционерах звучала риторика эпоса: три героических поколений исполняли миссии, с которыми приходили в мир, их поступь вела к неизбежной победе их идеалов. Эпическому описанию российской истории соответствовал и метафорический ряд: «узок круг»,

«молодые штурманы будущей бури», «из искры возгорится...». Образ декабристов в контексте этого эпоса выглядел притчей о романтиках, выступивших, несмотря на неизбежное поражение, против самовластия. Притча не принижала героев. Её поучительность была не в неудаче, а в том, что «их дело не пропало».

Борцы с несправедливостью служили образцом благородства, а их выход на Сенатскую предстал призывом, подвигом, высокой жертвой.

Вариант успеха не рассматривался. Такие предположения противоречили бы идеологии неизбежности социалистической революции и психологии советского исторического человека: любое происшедшее событие с неумолимой логикой объяснялось исторической необходимостью и, значит, не могло не произойти, а то, что не произошло – не могло случиться. Так дворянская революция не могла быть успешной в силу своей «исторической ограниченности». Поражение объяснялось, но не осуждалось. Причем обреченность попытки была как бы понятна и самим восставшим – во всяком случае, Пушкин, согласно этой притче, не был ими вовлечен в заговор из бережного отношения к российскому гению. Тем значимее и возвышеннее предстала жертва, принесенная передовыми людьми России, которым было, что терять в отличие от будущего пролетариата.

Притча о героизме задавала границы даже исследовательским проблемам – очевидный для историка вопрос о нереализованных возможностях восстания был замещен темой обреченности. Неудача революционной попытки дворян объяснялась узостью их исторического мышления и непоследовательностью задач, которые в свою очередь определялись дворянским происхождением. Обреченность предшественников помогала утверждать историческую предначертанность большевистских успехов, но, выстраиваясь в линию преемственности революционных идеалов, образы декабристов транслировали не только идеологически правильные оценки. Они содержали некие нравственные и эстетические составляющие этих идеалов, которые не умещалось в партийности и классовости. Антирежимные смыслы романтической притчи открылись лишь для одного советского поколения – для шестидесятников. И открылись, когда шестидесятники оказались в семидесятых – в «брежневском» безвременьи. Са-

мым откровенным выявлением этих смыслов стала песня Александра Галича, настойчиво ставившая вопрос “Можешь выйти на площадь?” Песня Галича датирована в сборниках 23 августа 1968 года и это подчеркивает, что она предшествовала выходу на Красную площадь семи советских интеллигентов, протестовавших против ввода войск в Чехословакию¹⁰⁵, но именно эта песня связала в единую историческую цепь диссидентскую акцию и стояние на Сенатской полков, отказавшихся присягать Николаю. Декабристский миф стал благословением зарождавшемуся движению протеста. Песня возникла на перекрестке двух нравственных образцов, двух долженствований – бесспорных для “шестидесятников”. Поэзия Галича и его вопрошание было “в упор” адресовано интеллигенции так же, как в упор смотрели глаза красноармейца на плакате Моора “Ты записался добровольцем?” в Гражданскую войну или глаза Матери-Родины, взывавшие в Великую Отечественную. Долг наследника революции, “советского мальчика”, воевавшего или выросшего после войны, требовал быть готовым к мобилизации. А категорический императив русской интеллигенции не допускал сомнений, что искренность для честного человека выше расчета.

Попытка революционного государственного переворота отныне была протестом честного человека против самовластья, душевным порывом тех, для кого свобода – ценность, а не политическая задача. Уклонение от душевного порыва было нарушением категорического императива, подчинением общему духу безвременья:

¹⁰⁵ Запись воспоминания Галича: «... началось вторжение советских войск, войск Варшавского Договора в Чехословакию... И на следующий день я написал эту песню. Я подарил её своим друзьям, они её увезли в Москву, и в Москве в тот же вечер, на кухне одного из московских домов... хозяин дома [Л.Копелев] прочёл эти стихи; и присутствующий Павел Литвинов усмехнулся и сказал: «Актуальные стихи, актуальная песня». Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения...» (Из передачи на радио «Свобода», 23 ноября 1974 года) <http://www.bard.ru/cgi-bin/listprint.cgi?id=35.05> Аналогично описывает эту историю и Павел Литвинов (см., например: Владимир Война. Выйти на площадь/Интернет-журнал «Кругозор» (<http://www.krugozor magazine.com/show/pavel-litvinov.171.html>)). И ещё одно воспоминание Литвинова, свидетельствующее о том, что песня предшествовала демонстрации, но не была её причиной: «Когда я услышал песню Галича с призывом «смеешь выйти на площадь», я почувствовал, что это обращено прямо ко мне, и с трудом удержался, чтобы не рассказать собравшимся на кухне о завтрашней демонстрации». <http://www.prison.org/clouds/clouds830.shtml>

*Днями-неделями выйти не смели мы, -
время нас не щадит.
Вот и остались мы, вот и состарились
около площади.
Так и проходят меж пьяной беседою,
домом и службою
Судьбы пропавшие, песни неспетые,
жизни ненужные...*
(Александр Городницкий. Около площади. 1981г.)

Альбом песен Городницкого, написанных в начале 80-х годов (куда вошла и процитированная песня), назывался “Спасибо, что петь разрешили”. К этому времени выработались способы разговора, музыкальный язык, киноязык, наконец – «магнитофонная» культура, позволяющие публичному пространству быть хоть в небольшой степени разгосударственным, что, впрочем, не сделало его деидеологизированным. Это публичное пространство было общим для обширного круга людей и в то же время приватным. Его культура предполагала как непрменный этап творчества индивидуальную работу мысли и воображения читателя, зрителя, слушателя, внешней цензуре не подвластную – *неконтролируемый подтекст*, по изящному выражению советских цензоров. Среди книг, которые были наполнены аллюзиями и неконтролируемым подтекстом, были заметны и книги о декабристах – прежде всего, повести Натана Эйдельмана (о Лунине, Пущине, Муравьеве-Апостоле, Раевском) и Булата Окуджавы (о Пестеле). В подобной подцензурной исторической прозе и, например, в пьесе Эдварда Радзинского о Лунине духота эпохи была фоном и причиной внутренней драмы героев, стремившихся сделать мир лучше, прорваться к полной и настоящей жизни – драмы подлинности, вынужденной вести неравный бой с *подлостью, лицемерием*. Тема декабристов стала восприниматься в контексте исторической параллели между брежневской эпохой и николаевской Россией. И сама декабристская тема сыграла важную роль в возникновении этой параллели.

Вышедший к сто пятидесятилетию восстания фильм Владимира Мотыля “Звезда пленительного счастья” добавил новые краски в романтическую притчу. Написанный для фильма романс

Исаака Шварца на стихи Окуджавы «Кавалергарда век недолог» окрасил образ совестливых дворян еще и обаянием молодости, гусарства. Но фильм внёс в тему гораздо больше – он утвердил новую интонацию. Эта интонация звучала без диссидентского подтекста (призыва выйти на площадь не было), но в то же время глубоко альтернативно официальной истории и советской героизации. Воспевалась не жертва ради будущего, воспевалось самопожертвование как самоутверждение человека, стремящегося к свободе. Аудитория песни и фильма была много шире, чем у повестей Эйдельмана и спектакля по пьесе Радзинского. Притча вступила в новый этап своего бытия – стала естественной частью культурного кода, который можно определить как *несоветскую романтику советской интеллигенции*. Культура эта была, хотя и элитарной, но достаточно массовой и нацеленной на расширение своего пространства: значительная часть её носителей – люди, принявшие просветительскую миссию как путь самореализации. Пение у костра, поэтические композиции старшеклассников, выставки в библиотеках подхватывали интонацию романтики избранных.

Героический романс.

«Ездишь за ним по всей Сибири, как жена декабриста!

Да кто он такой, в конце концов: князь Трубецкой,

Волконский?!»

(к/ф «Сказание о Земле Сибирской», 1947 год) ¹⁰⁶

Не менее, чем стояние на Сенатской, если не более, значимый для “книжной” советской культуры образ – жены приговоренных к каторге, ринувшиеся в заснеженные просторы за обреченными мужьями. Образ давно и глубоко укоренен: *декабристка* было и остаётся именем нарицательным, обозначающим готовность женщины подчиниться обстоятельствам жизни своего мужчины, особенно если речь идет об отъезде “в неизвестность”.

Фильм “Звезда пленительного счастья” в большинстве интернет-каталогов на видеопродукцию обозначен как повествование о “подвиге русских женщин”. Представление о декабрист-

¹⁰⁶ Эти слова в фильме произносит успешный столичный пианист, ревнующий героиню к сопернику – бывшему боевому офицеру, уехавшему в Сибирь заново строить свою послевоенную жизнь.

ках как высшем проявлении женского национального характера восходит к “Русским женщинам” Николая Некрасова. Уже тогда, в поэме Некрасова ясно звучала тема вызова. Многие эпизоды фильма Владимира Мотыля воспроизводят сцены некрасовской поэмы, именно эти эпизоды создают мелодраматическую фабулу, и иногда в каталогах даже пишут о фильме как об экранизации. Но у Некрасова «подвиг любви бескорыстной» своей основой имеет глубокие христианские чувства. Княгиня Трубецкая говорит иркутскому губернатору о святости долга, которому следует. Окружение Екатерины Трубецкой и Марии Волконской, даже те люди, которые отговаривают их, понимают, чем продиктовано неудержимое стремление следовать за мужьями. В советском сознании религиозные смыслы распались, и подвиг декабристок выглядел поступком, в первую очередь, неожиданным и дерзким по отношению к «высшему свету» и его морали. В столетний юбилей восстания место княгинь, последовавших за мужьями, авторы киноленты «Декабристы» и одноименной оперы (первая версия известного произведения Юрия Шапорина) передали Полине Гебль – француженке, устремившейся в Сибирь не за мужем, а за возлюбленным Иваном Анненковым¹⁰⁷. Поскольку опера Шапорина «Декабристы» после множества версий обрела свой классический вид (либретто Всеволода Рождественского) уже в начале пятидесятых годов, когда космополитизм в театре был разоблачен и искоренен, француженки среди персонажей не было. Место Гебль и Анненкова заняли девушка Елена из бедной помещицкой семьи и сын жестокой помещицы, протестующий против произвола матери, князь Дмитрий Щепин.

Однако ни историки, ни популяризаторы русской истории не развили оценку подвига декабристок как вызова дворянскому сословию до версии сознательного социального протеста. Единственным понятным и очевидным мотивом оставалась беззаветная любовь – и словосочетание «подвиг любви бескорыстной» звучало уже как напоминание о силе и испытании женской любви. Это наполняло и укрепляло декабристский миф: избранники, восставшие против самодержавия, были достойны самых сильных чувств. А слова о «обете бескорыстной любви», которые в

¹⁰⁷ Одним из соавторов как сценария, так и либретто оперы был историк П.Е.Щеголев. Второй соавтор либретто, публиковавшегося как драматическая поэма «Полина Гебль» – Алексей Толстой.

некрасовской поэме убежденно произносит Мария, поддерживая дух Екатерины Трубецкой при их встрече в Нерчинске, уже и не цитируются. Однако, любовь не могла объяснить всё – того, что следуя к мужьям, матери расставались навсегда с детьми, что в сибирской ссылке семейная жизнь могла складываться непросто.

У поэта и писателя-исследователя, иркутянина Марка Сергеева в 1975 году в Москве вышла документальная повесть «Подвиг любви бескорыстной», состоявшая из очерков о пяти декабристах¹⁰⁸. Книга издана в серии для школьников «Пионер – значит первый» и, естественно, что среди пяти был очерк о Марии Раевской-Волконской, воспетой Пушкиным и Некрасовым. В том же году, к 150-летию восстания Марк Сергеев пишет пьесу по «Запискам княгини Волконской» и в ней выносит на обсуждение (пьеса выстроена как обсуждение) темы, которых в книге для юношества быть не могло: в Сибирь за нелюбимым мужем, Мария Волконская и Александр Поджио. Сам автор и персонажи его пьесы – современники, читающие на сцене «Записки», растеряны – что-то не складывается в чарующем образе¹⁰⁹. И подвиг княгини предстал подвигом именно потому, что не поддавался современному нам рациональному объяснению. Образ женщин-декабристок противостоял сухому рационализму, прагматичности позднесоветского времени.

«Звезда», вышедшая на экраны в те же дни, когда в Иркутске был поставлен спектакль, эту растерянность перед объяснением мотивов поступка женщин игнорировала, рифмуя Любовь со Свободой. По словам Владимира Мотыля, «Звезде» предшествовало несколько попыток «пробить» сценарии о декабристах. Последний вариант «Комета – судьба моя» был посвящен истории Анненкова и Гебль, но киновласти его не дали снимать, мотивируя это нерусской фамилией и происхождением героини. Замечательно, что идеологический надсмотр не беспокоился из-за происхождения Екатерины Ивановны Трубецкой (в девичестве Лаваль), дочери французского эмигранта, получившего от Людо-

¹⁰⁸ Сергеев М.Д. Подвиг любви бескорыстной: рассказы о женах декабристов – М. : Мол. гвардия, 1975.

¹⁰⁹ Следующую книгу, в которой были очерки о двенадцати женщинах, приехавших в Сибирь вслед декабристам, Марк Сергеев называет уже «Несчастью верная сестра» (Восточно-Сибирское книжное издательство: Иркутск, 1992).

вика XVIII графский титул. Некрасов написал её образ русским национальным – не в этническом, в культурном смысле. Именно такой образ в фильме естественно и глубоко воплотила Ирина Купченко. Эва Шиккульска в роли Гебль создавала совсем другой национальный характер. А Наталья Бондарчук представила Марию Раевскую (затем Волконскую) в контрапункте взросления, рождения самостоятельной личности, что оттесняло на периферию внимания национальные и социальные смыслы в образах Марии и её близких. Название «Русские женщины» было бы неуместным для того, что мы увидели на экране, и можно сказать, что фильм, опираясь на поэму, «не заметил» эту традицию, идущую от Некрасова, во всяком случае авторы не ставили перед собой задачу её продолжить, они были увлечены другими – не идейно-воспитательными – задачами. Но фильм «не заметил» и советских идеологических смыслов – мостика из Парижа никак об этих смыслах не напоминала¹¹⁰. Мелодрама, даже сыгранная блестящими актерами, служит в фильме скорее историческим контекстом для той сюжетной линии, которая и обеспечила длительную, достаточно широкую популярность кинокартины, определила основную музыкальную тему. Линии этой – Иван Анненков и Полина Гебль – не было, да и не могло быть у Некрасова, во всяком случае, в той замешанной на иронии стилистике водевиля, да еще с привкусом авантюры, которую нашли и воплотили сценаристы, режиссер и актеры. Полина Гебль – не жена, а по фильму даже не невеста, скорее – любовница, которую легкомысленный бонвиван Иван Анненков хочет сделать женой, подчинив своему неукротимому нраву. Нрав оказывается мятежным – великосветский повеса становится декабристом, а юная француженка, еще недавно шокированная варварской страной и необузданностью поклонника, обнаруживает непреклонную решимость идти открыто на встречу с любой дикостью, но отстаивать свое право быть рядом с возлюбленным. Свободолюбие против варварства, свободный выбор в пользу любви. Авторы вольно или невольно устранили, точнее, заместили обаянием об-

¹¹⁰ Между тем по версии А.Н.Иезуитова именно в альбоме Прасковьи Егоровны Анненковой (Полины Гебль) молодой помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов прочитал «Наш ответ» Одоевского и, соответственно, строчки, выбранные в декабре 1900 года (75 лет восстанию!) эпитафией к газете «Искра» и, возможно, подсказавшие название будущей газеты. См. Иезуитов А.Н. К истории эпитафии ленинской газеты «Искра»//Литературное наследие декабристов. – Ленинград: «Наука», 1975, сс.382-389

раза непроговоренность причин добровольного изгнания декабристов, возникшую в атеистической стране. Результатом стало обновленное нравственное звучание их подвига. Фильм “Звезда пленительного счастья” показывают по телевизору в юбилей восстания на Сенатской площади и непременно по одному из телеканалов 8 марта – в *женский праздник*. Образы женщин в фильме пронизаны пафосом личного выбора судьбы и утверждают право на подобный выбор.

Декабристки звучит как напоминание о том, что Сибирь – суровая страна. Все, чем пугал Екатерину Ивановну Трубецкую в поэме Некрасова иркутский губернатор, стало неотъемлемой частью высокого мифа о добровольном изгнаничестве женщин, более того придавало особую высоту их подвигу. В сибирской теме декабристского мифа именно женщины, а не бывшие дворяне на каторге, отвечают за мужественность. В свою очередь подвиг женщин был и остается главным компонентом воспитывающего мифа “Декабристы в Сибири”.

Сибирские пироги

“У коренного населения декабристы пользовались большим уважением, занимались врачеванием, обучением грамоте и ремеслам, за что были ласково называемы Красным Солнышком. Не раз Бестужевы бывали в Кяхте, называли её “забалуй-городок”, имели здесь немало друзей”

Альманах “Кяхтинская старина”¹¹¹

В октябре 2003 года Читинский театр драмы открывался после ремонта, поэтому начало сезона было оставлено как небольшой городской праздник – по-домашнему, с гостями-строителями, с подарками, с поздравлениями. И спектакль был выбран на “домашнюю” читинскую тему – сценическая композиция о декабристах в Чите. Декабристов в Чите было много – несколько десятков человек и авторы спектакля предпочли сделать портрет групповым как на монументальном панно – в программке персонажи обозначались предельно просто “декабристы” и напротив были перечислены актеры. А главных героев было двое. Прежде всего – Лепарский – комендант Читы, старый служака, по-отечески опе-

¹¹¹ Кяхтинская старина: альманах/ Министерство культуры Республики Бурятия. Кяхтинский краеведческий музей им. Обручева, сост.Л. Филиппова – Кяхта, 2003, с.91

кавший каторжан. В конце спектакля, когда вышли на поклон, главные аплодисменты достались ему – хлопали явно не актеру, а герою. Основной идеей спектакля была идея сибирского поприща декабристов и расцвета Читы благодаря тому, что она стала местом их наказания. Чита оказалась причастной к большой истории – домашнее соединилось с великим – и первый цветок все же понесли не Лепарскому, а императору, который стал вторым главным героем, именно царь как персонаж общероссийского масштаба воплощал большую историю. По ходу композиции Николаю, а не декабристам или их женам, было доверено читать послание Пушкина сибирским изгнанникам, и император делал это почти как киношный Пушкин – с легкостью и поэтическим пылом. Войдя в образ поэта, самодержец закончил посланием Чаадаеву – правда, поменяв личное местоимение и превратив таким образом мечту в обещание: “И на обломках самовластья напишут *ваши* имена”. И всё ждал, ждал просьбы о помиловании. Не дождался и, когда понял, что не дожидется, смирившись с непреклонностью узников и проявив историческую мудрость, разрешил читать газеты и книги¹¹². Именно царю, когда актерам вручали цветы, понесли домашний пирог с повидлом. Его несли на противне две женщины. Актер, игравший Николая, пирог не брал. Женщинам пришлось встать перед актерами и продемонстрировать пирог залу, заслоняя Николая, явно взбешенного таким приземлением высокого искусства и монаршего образа. Пирог подхватил актер, игравший одного из декабристов, чтобы вручить женщин и театральную эстетику. Образы декабристов от этого не приземлялись – они в Чите такие же домашние, “свои” как в Кяхте или в Тобольске. Читы заключенные в ней декабристы собственно и превратили в город. В Кяхту декабристы только наезжали пообщаться с образованными людьми, поиграть в карты или, как, например, Николай Бестужев, подзаработать писанием портретов. В честь Бестужева в Кяхте названа улица. В Чите, то есть на юго-востоке сибирских пространств, и Ялutorовске, то есть на их северо-западе, с декабристами связывают планомерность застройки «а ля Петербург», считая их реформаторами

¹¹² Это была первая попытка исторического примирения декабристов с самодержавием. Ровно через десять лет, в октябре 2013 года на канале «Культура» состоялась вторая – передача, посвященная Бенкендорфу, о которой речь во второй части очерка.

городского пространства¹¹³. А там, где жизнь к приезду декабристов уже кипела, в её кипение они согласно местным преданиям добавили культуры.

Сибирская жизнь декабристов – особый мир, удаленный в пространстве и времени, в мироощущении не только от дворянского света Петербурга и Москвы, но и от мира тайных обществ, от восстания на Сенатской и «пугачевского» марша Муравьева-Апостола. В этом мире *своё* соединяется с *большой историей*. В локальных мифах о сибирском поприще декабристов «домашнее» соединяется с великим, здесь тема декабристов – часть имперской идентичности. И точно также образ декабристов и их жен обрел в сибирских городах совсем иное бытие, чем в культуре, создаваемой в столицах централизованной страны.

От Приуралья до Забайкалья декабристы – символический капитал, доказывающий, что город не был в стороне от большой истории и передовых веяний. Более того, благодаря декабристам сибирские города и поселки вписывались в историю русской революции, места каторги и ссылки представляли в своих локальных историях оазисами свободомыслия. В Петровске-Забайкальском, например, местные власти в советское время санкционировали крупное панно на здании вокзала не просто с текстом ответного стихотворения Одоевского Пушкину, но и с крупно выписанным заглавием «Наш ответ». Осовременивание тираноборческого стихотворения, возникшее благодаря тому, что заголовок связал декабристов с местным сообществом, осталось незамеченным теми, кто утвердил проект оформление вокзала, а, может быть, и авторами панно – тираноборческое не воспринималось как антисоветское. Главное – символический капитал причастности к большой истории, и он столь значим, что может сопровождаться слепотой к её, истории, иронии. С забайкальским панно удачно рифмуется плакат, размещенный на центральном проспекте Новосибирска уже в постсоветское время к 200-летию Пушкина в 1999 году, где к профилю поэта была подверстаны начальные строки его послания декабристам «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение!». Эти случаи можно назвать проговорами имперского сознания, через которые проступает одно из основных его противоречий – агенты колонизации пространства

¹¹³ как пояснила смотрительница музея в Чите про Дмитрия Завалишина «он тосковал по своему Васильевскому острову, а там все прямо – вот и у нас *линии* как в Петербурге»

сами оказываются в положении колонизованных. В терминах социальной науки это называется «внутренняя колонизация». Над стигмами края ссылки и каторги нарастает нечто такое, что не только не стыдно миру показать, но является и предметом любования. И, конечно, особый предмет гордости – те позитивные черты, которые обнаруживаются в каторжном статусе края. Например, что в край сослали лучших людей – образованных, культурных, героических. И угадывается даже некая благодарность верховной власти, что сослала.

Целью расправы Николая I над дворянами, унизившими его неподчинением, было вычеркивание их из памяти “своего” (Его – царя – и Их) круга. Престолонаследие Николая стало неожиданностью для него самого (во всяком случае, состоялось оно внезапно), и он не только мстил тем, кто усомнился публично в его праве быть во главе России, он устранил саму память о сомнениях и дерзко усомнившихся. Каторга и ссылка в Сибирь – не только наказание, перенесение в пространстве как можно дальше от жизни общества, по сути, в небытие. Препятствия, которые монарх и его порученцы одно за другим ставили перед декабристами – не только стремление остановить женщин, стремившихся из любви и (или) христианского долга вслед мужьям и возлюбленным. Предлагаемые условия были выбором пути ухода в небытие: или забудьте о мужьях, или свет забудет не только о них, но заодно о вас и ваших будущих детях. Но именно Сибирь стала чуть ли не главным хранителем памяти о декабристах. Советская модификация декабристского мифа создала столь значительный ресурс символического капитала для сибирских городов и поселков, что и за два постсоветских десятилетия этот ресурс не исчез, сохраняя совокупный образ «декабристы» в исторической памяти¹¹⁴. Однако, вечных ресурсов не бывает.

В Сибирь мы еще вернемся, а пока посетим особняк на Тверской улице нынешней российской столицы.

¹¹⁴ Корреспондент «Новых известий» берет интервью об угрозе национализма у Эмиля Паина и просит прокомментировать казус, возникший в переписи 2010 года, когда жители Сибири указывали «сибиряк» в графе национальность. Возражая комментарию Паина, не склонного это драматизировать, корреспондент заявляет: «Но в Сибири культурное обособление существует давно, едва ли не с декабристов» – Новые Известия, 28.11.2011, № 216, с.5

Не преодолевшие. Потомки декабристов были желанными гостями юбилейных конференций и фестивалей, проводившихся в позднесоветское время. Будучи, в основном, представителями дворянских родов, они оказались первыми, кто благодаря своему дворянскому происхождению обрёл в Советском Союзе символический капитал. Парадоксальность этого феномена не была в советское время замечена (во всяком случае, публично), а сам феномен смог возникнуть в силу, во-первых, романтического ореола вокруг совокупного образа декабристов и, во-вторых, того, что притча о декабристах занимала яркое и бесспорное место в советской исторической мифологии. Они сияли в этой мифологии даже ярче, чем не менее бесспорные и, к тому же, классово близкие революционеры-разночинцы. Очевидно, благодаря духовному аристократизму и принадлежности к «золотому» (пушкинскому) веку. Как следствие этого парадокса уже в постсоветское время возник удивительный феномен, когда нашли друг друга отвергнутые буржуазным миром декабристы и пролетарский святой. После закрытия в 1997 году Музея декабристов в особняке Муравьева-Апостола без места для регулярных собраний осталось «Общество потомков декабристов». Злоключения особняка, связанные со сменой собственников, и судьба московского музея декабристов – отдельная история, что же касается потомков декабристов, то их обществу дал приют Государственный музей имени Николая Островского, расположенный в доме на Тверской. Исторический аргумент восходит не к ленинской формуле о трех поколениях революционеров, а к тому, что за столетие с лишним до пролетарского писателя в этом доме жила Зинаида Волконская и, значит, здесь Пушкин передал Марии Волконской послание декабристам. Но есть аргументация и мировоззренческая – музей Николая Островского сохранился, став одновременно Центром «Преодоление». Декабристы не просто нашли место в музее Николая Островского, они стали ключевым звеном для новой идеологии музея – теперь музей посвящен людям, «которым судьба устроила жесткие испытания – физические, душевные».¹¹⁵ Экспозиция изменилась соответствующим образом,

¹¹⁵ Сабитова И. Озаренные солнцем// Социальное партнерство (издатель ЗАО «Лукойл-информ»), 2006, № 3. Эпиграфом к статье избрана притча о Муравьеве-Апостоле, фамилия которого становится говорящей («Был «апостол Сергей» последователен, честен, искренне религиозен»)

и несколько лет назад на двери музея среди других анонсов его деятельности висела и информация о регулярных встречах общества «Наследие декабристов». Возникло не только идейное, но и стилистическое единство сюжетов, связанных с декабристами, с судьбой декабристского мифа, с судьбой Николая Островского, с судьбой мифа о Корчагине/Островском. Акцентируется идеализм как то, что требует мужества и что не востребовано сегодняшним временем. Автор журнального очерка об обществе, восхищенная его активистами как бескорыстными подвижниками, аттестовала их как хранителей «нравственных сокровищ». Не только в образе самих декабристов, но и в сюжете о судьбе московского музея декабристов, звучит тема мученичества: «памяти дворян-мучеников», «Музей мучеников Истины». А людей, вкладывающих силы в память «дворянах-мучениках», автор противопоставляет «дворянству в мещанстве», то есть дворянским обществам, созданным в послесоветской России людьми, которое сделали своё мнимое или действительное дворянское происхождение профессией. Созвучность житию Павки Корчагина-Николая Островского достаточно очевидна, чтобы возникло семантическое богатство в самом сведении декабристских сюжетов с музеем мученика революционной идеи. И здесь в декабристском мифе востребованным в первую очередь оказался сюжет женщин, избравших путь испытаний.

К настоящему времени центр «Преодоление» и музей Николая Островского с обществом потомков декабристов расстался¹¹⁶. Единственный след «декабристской» тематики, как в самом музее, так и на его сайте – ежегодный вечер Зинаиды Волконской. Вернее, здесь возможно присутствие декабристского следа, хотя совсем необязательно.

Советский культ декабристов не отменил, как выяснилось, замысла Николая Первого и других сценаристов расправы над

¹¹⁶ Отреставрированный на средства потомка владельцев особняк на Старой Басманной получил статус Дом-музей Усадьба Муравьевых-Апостолов, хотя в январе 2013 года «Российская газета» сообщила, что после реставрации в особняке откроется Музей декабристов (<http://www.rg.ru/2013/01/31/dekabristy.html>). Выставочное пространство особняка уже несколько лет активно используется, судя по информации на сайте, на сайте так же можно узнать, что в планах и постоянная экспозиция, посвященная движению декабристов <http://old.ma-housemuseum.ru/museum/>. В 2009 году в особняке прошла традиционная встреча потомков декабристов с участием общества «Наследие декабристов» (<http://old.ma-housemuseum.ru/events/decembrists>), но это единственное упоминание об обществе в информационных материалах об усадьбе Муравьевых-Апостолов в его новом качестве.

декабристами: исторгнув из общества, исторгнуть из истории. Декабристская мифология, которую – в единстве и противоречиях – создавали в двадцатом веке идеологические руководители и интеллигенция, оказалась довольно уязвимой конструкцией. Нельзя сказать, что декабристы выскользнули из исторической памяти, как только исчезли юбилейные и школьные напоминания о них. Во всяком случае, те, кто «работает» с исторической памятью, вынуждены или пытаются ориентироваться на сохранившиеся конструкты советского декабристского мифа – прежде всего в его интеллигентской ипостаси. В опубликованном исследовании Сергея Эрлиха детально рассмотрены как единичные случаи обращения к метафоре «декабристы» в политическом дискурсе начала нынешнего века, так и стратегии выстраивания политического имиджа на основе этой метафоры.¹¹⁷ Материалы, собранные и приведенные автором, позволяют достаточно уверенно говорить, что декабристы к середине первого десятилетия нового века еще оставались одним из самых значимых символов нравственного противостояния верховному всевластию¹¹⁸.

Если говорить об официальной «политике памяти», то те, кто её формируют и реализуют, действительно, предпочитают тактику умолчания в теме «декабристы». Во всяком случае, в конце 2005 года была свёрнута программа отмечания 180-й годовщины восстания. Одна веская причина достаточно очевидна – возникший зимой 2004-2005 года образ Майдана как противостояния манипуляциям власти. И, естественно, что проводники линии на противодействие «оранжевой угрозе» не могли не принимать во внимание антирежимный потенциал «метафоры мятежа». Тем более, что метафора активно использовалась против Кремля и командой НТВ, когда она подверглась разгрому весной 2001 года¹¹⁹, и пиар-командой Михаила Ходорковского, когда он после суда был этапирован в «декабристские места»¹²⁰.

¹¹⁷ Эрлих С. Метафора мятежа: декабристы в политической риторике путинской России. – СПб.: Нестор-История, 2009

¹¹⁸ Добавим памятник декабристам в Екатеринбурге напротив академии госслужбы, который был, как и иркутский, обещан еще в советское время, но в отличие от Иркутска в Екатеринбурге памятник установили, реализовав идейно-художественный замысел советского времени, в 2000 году, приурочив к 175-летию восстания (<http://ekaterinburg.ru/news/19/39071-dvenadtsat-let-nazad-v-ekaterinburge-byil-otkryt-pamyatnik-dekabristam>).

¹¹⁹ Эрлих С., сс.21-41

¹²⁰ Там же, сс.42-113

Камень умолчания. Иркутянин, выросший в 50х-70-х годах двадцатого века, твердо знал, что именно декабристы (точнее, две жены декабристов – Екатерина Трубецкая и Мария Волконская) дали начало культурному миру города. Решающую роль сыграло то обстоятельство, что с середины двадцатых годов, то есть с активной деятельности ученых, санкционированной (или вызванной) столетней годовщиной восстания, Иркутск стал признанным центром декабриствоведения, сосредоточенного прежде всего на исследовании сибирского периода жизни изгнанников, а затем и центром публикации текстового наследия¹²¹. Дом Волконских поддерживается не только как музейная экспозиция и научное учреждение, но как романтический салон и это стилистически довольно точно: романтизм – неотъемлемая часть *декабристского мифа* в Иркутске.

В 1985 году в центре Иркутска обозначили место будущего памятника декабристам, установив камень с соответствующей надписью. Был даже проект монументальной скульптурной группы, но он вызвал резкие возражения – шла уже эпоха гласности и перестройки. Провели конкурс и организовали в музее выставку лучших проектов, собирая отзывы посетителей. Затем стало не до памятников. В начале нынешнего века время монументальной скульптуры в Иркутск вернулось – был водружен памятник адмиралу Колчаку, восстановлен Александру Третьему, постепенно власти и спонсоры вошли во вкус. Несколько раз предлагались различные памятники и на то самое место, где был установлен камень-обещание – не декабристам.

В 2005 году иркутские СМИ опубликовали новость о том, что Зураб Церетели создал памятник декабристам. Новость подавалась в интонации гражданских опасений: «не хотят ли навязать Иркутску?!». Впрочем, монументалист дезавуировал новость и при этом был явно раздражен, видимо, расслышав эти опасения в вопросе журналистов. Потом пришло время вспомнить о грядущем юбилее города (в 2011 году 350 лет, как казаки и служилые люди поставили острог на том месте, где затем вырос Иркутск) и неизбежно возник вопрос о новых памятниках и, значит, о том,

¹²¹ Речь идет прежде всего о серии «Полярная звезда», в рамках которой на сегодняшний день вышло почти тридцать томов со статьями, записями, письмами декабристов (в 1979-1999 годах в Восточно-Сибирском книжном издательстве, с 2000 года в Иркутском мемориальном музее декабристов).

чтобы выполнить обещание двадцатипятилетней давности, которое поторопились высечь в камне. Весной 2008 года сразу несколько иркутских СМИ вновь заговорили об установке монумента Церетели именно в Иркутске, но уже в совсем иной интонации. Мысль об усечении темы декабристов до добровольной ссылки женщин казалась уже счастливой – подвиг женщин как бесспорный стал удобным поводом избежать дискуссий о самих мятежниках и их сибирской судьбе. Но и для памяти о подвиге женщин, описанном Некрасовым как следование христианскому долгу, стали искать другое место – не напротив церкви. Что-то не срослось с проектом Церетели – видимо, режим экономии в условиях кризиса, а, возможно, внушительная композиция уже кому-то была обещана. Во всяком случае, его даже не было на конкурсе проектов. Из представленных отобрали памятник в виде одиночной женской фигуры. Такой вариант, вероятно, и по стоимости оказался привлекательнее, чем скульптурные группы, предложенные другими соискателями. Злоязыкие иркутяне обзвали будущее изваяние «памятником жене неизвестного декабриста». К юбилею он был установлен, и не там, где был бы заметен и уместен – не около усадьбы Волконских. Видимо, это место не подходило: скульптура тогда бы воспринималась как памятник бывшей хозяйке, а не как обобщенный образ¹²² в соответствии с официальным именем – «Женам декабристов». И сквер для памятника оформили в стороне от усадьбы, напротив автовокзала – там фигура меньше привлекает внимания, и это обстоятельство невольно подчеркнуло скромность в увековеченном женском образе. Женщину отделяют от автовокзала трамвай и несколько рядов машин, она издали встречает и провожает жителей области, которые вряд ли успевают в суете её заметить. Естественное решение, когда нельзя проигнорировать какую-либо тему в исторической памяти, и в то же время сделать знак максимально формальным, чтобы тему не акцентировать.

В декабристском мифе заложен антирежимный потенциал. Но вряд ли иркутские власти, когда откладывают для преемников вопрос о памятнике декабристам, размышляют о «метафоре мятежа». Более понятны и обоснованы опасения идеологических дебатов – нежелание давать повод для яростных атак ра-

¹²² Выбор места ничего не изменил – горожане считают, что в городе есть памятник именно Марии Волконской.

дикальных националистов, которые выступают с клерикально-монархическо-имперских позиций¹²³ и для того, чтобы о своих позициях напомнить «городу и миру», используют исторические темы, которые на слуху, или какую-либо тему актуализируют. Пренебречь этими рисками чиновникам сложно: и чревато громкими несанкционированными акциями, и может стоять места. «Русская партия» в Иркутске последнюю четверть века не один раз прибегала к рычагам давления на власть, вынуждая к административным кадровым решениям¹²⁴.

«Зима железная дохнула». В доперестроечных текстах авторов, которых можно отнести к идеологам «русской партии», отношение к декабристам могло радикально различаться. Владимир Чивилихин в романе-эссе «Память», сыгравшем особо значимую роль для утверждения тематики партии в пределах советского идеологического дискурса, к декабристам относится трепетно и рассказывает, как открыл для себя «Общество соединенных славян». Декабристы как патриоты для него в одном ряду с пока неизвестным автором «Слова о полку Игореве». А в самиздатовских монархических текстах дворяне-мятежники были, если не демонизированы, то деромантизированы, то есть лишены ореола романтического героизма и переведены из революционеров в заговорщики. Не успела начаться эпоха гласности и перестройки, как это развенчание стало не только публичным, но и приобрело характер вызова¹²⁵. Объяснить это можно атаками на пантеон «шестидесятников» – основных идейных противников «русской партии», и, разумеется, принципиальным неприятием русских революционеров как некой антинародной силы, а то, что русская революционная традиция началась декабристами – твердо усвоено. Декабристы воспринимаются как представители или предтечи либеральной интеллигенции и зачисляются таким образом

¹²³ Иркутские выразители этих позиций причисляют себя к «Белому сопротивлению» (во всяком случае причисляли до движения «белых лент»).

¹²⁴ См. Рожанский М.Я. Фантом национальной империи. «Русская партия» в Иркутске. //Байкальская Сибирь: из чего складывается стабильность. Иркутск, Наталис, 2005, – сс.222-249

¹²⁵ Достаточно вспомнить фразу, брошенную в романе Василия Белова «Всё впереди» положительным персонажем о Николае Первом, которого положительный персонаж считал коварно оклеветанным: «пяток декабристов повесил». Роман был опубликован в журнале «Наш современник» в середине 1986 года (№№ 7 и 8).

в «западники», а затем наделяются всеми главными пороками русофобов. Революционная линия в России оценивается как линия внешнего заговора и декабристы здесь важны не только как «первые русские революционеры», но и как участники масонских лож. Разоблачение романтики, окружавшей декабристов в советское время, стало одной из задач идеологической борьбы, участниками которой осознают себя публицисты «русской партии».

Сибирская жизнь декабристов для сибирских публицистов этого направления, соответственно, тоже становится показателем чуждости мятежников русскому народу – во всём, начиная с условий жизни в ссылке. Вот высказывание иркутского писателя Анатолия Байбородина в программном диалоге, записанном в августе 1990 года для журнала «Сибирь», ставшего именно тогда, после публикации в одном из номеров «Протоколов сионских мудрецов» и последовавшего выхода из редколлегии протестовавших против этой публикации писателей, органом «русской партии»:

«...входишь в роскошные дома-музеи государственных преступников – декабристов Волконского и Трубецкого в Иркутске, и думаешь: нет всё же не худо жили вчерашние каторжане»¹²⁶.

В послесоветское время публицистика русского национализма обнаружила антирусские цели и в тех занятиях декабристов, которые в краеведении и декабристоведении всегда высоко оценивались как вклад в развитие Сибири:

«Накануне войны (Крымской- прим. МР) в иркутских гостиницах у ссыльных князей Волконского и Трубецкого мы застаем БРИТАНСКОГО (выделено автором текста) путешественника Гиля – такового рубаху-парня, охочего до сибирских впечатлений... А уж нашим «героям» – декабристам есть, что показать гостю: пожалуйста, подробно составленные карты Сибири и Дальнего Востока; а вот – практические пособия по изучению местных языков; а вот, обратите внимание – минералогическая коллекция, в ней есть все образцы сибирских полезных ископаемых... А друг Трубецкого и Волконского, Мишель Лунин вообще расстарался – отослал в Лондон через надежных людей какую-то толстую тетрадь... Не иначе, как с научными статьями по

¹²⁶ Возвращение России. Беседа В.Распутина и А.Байбородина//Сибирь. Журнал писателей Восточной Сибири. 1991, №1, С.19

вопросам сибирской ботаники и энтомологии – иначе непонятно, за что его после этого «кровавые царские сатрапы» вновь заточили – на этот раз в акатуйский цугундер, где он вскоре и представился...»¹²⁷.

Масштаб разоблачений за четверть века вырос, но в интонации, по-прежнему, преобладает сарказм деромантизации. Основным аргументом для ядовитой интонации служит то, что предшествовало сибирской жизни декабристов – само выступление на Сенатской. Выступление 14 декабря 1825 года в глазах нынешних сторонников имперского самодержавия и православного послушания выглядит акцией чудовищной по вероломству в отношении России и государства, что для этих авторов синонимы, а государство, в свою очередь, синоним самодержавной воли. Настоятель церкви, в ограде которой похоронен Никита Муравьев, хлопотал о переносе могилы от православного храма: декабрист – государственный преступник. Газета “Православное Забайкалье” отводит полосу для статьи о масонстве декабристов, чью память продолжают чтить в крае: раз масоны, значит, враги России и истинной вере. Иркутский поэт выступает по телевидению в связи с юбилеем Федора Тютчева и, выстраивая сценарий передачи, противопоставляет патриотизм Тютчева космополитизму тех, кто вышел на Сенатскую, а в финале развивает тютчевский образ дыхания «зимы железной»: силы самой стихии смели с площади бесовское, занесенное европейскими ветрами, неукорененное в народных толщах. Помимо тютчевской метафоры ясно слышится и ленинское «Страшно далеки они от народа!», но усвоенная формула уже не столько историческая характеристика, сколько обвинение в антинародности, предъявленное с позиций самодержавия и православия, сохраняющих с николаевской эпохи исключительное право на народность за собой.

В логике демонизации выступления на Сенатской в декабре 1825 года любой компонент мифа, известный со школьной скамьи, переоценивается как проявление антинародности/русофобии и работает на *демонизацию* коллективного образа тех, кто исторически был подведен под общее имя декабристов. Сарказм вволю выливается на основные конструкции сибирского дека-

¹²⁷ Днепровский Роман Декабристы: просветители Сибири или агенты британской разведки//Русский Восток. Издание Иркутского отдела Союза русского народа, апрель 2007, №2(214)

бристского мифа, сформированного в советское время. Авторы используют результаты советской романтизации: во-первых, слабые с рациональной точки зрения «узлы» мифологии, слабость которых была скрыта за эмоциональной насыщенностью и не проблематизировалась, а, во-вторых, крайне удобное для демонизации сочетание романтического окраса декабристского мифа с предельной обобщенностью собирательного образа. Такое сочетание высокой романтики и обобщения естественно для притчи. Но регистр с жанром переключен с притчи на памфлет и, благодаря обобщенности, конкретные примеры, разрушающие романтический ореол – репрессивные планы Пестеля, выстрел Каховского, поведение на допросах – служат дискредитации всего сообщества.

Менее уязвима для деромантизации та часть мифологии, которая связана с декабристками. Слабым местом, как замечено выше, был вопрос о мотивах – ответы, игнорирующие христианскую составляющую, теряли убедительность, образы декабристок неизбежно приобретали некую светскую сакральность. На первый план выходили категории веры, надежды, любви в своей светской версии. Рационализировать их действия указанием на какие-либо корыстные мотивы оказалось, видимо, не под силу. Единственное уязвимое место – выбор в пользу мужа, а не детей, в котором корысть также обнаружить невозможно, но простор для морального осуждения найти нетрудно, если поставить такую задачу¹²⁸.

Почему «русская партия» в Сибири тратит интеллектуальные и публицистические силы на разоблачение декабристов? Именно в Сибири декабристы – важный элемент локального патриотизма. И с возобновлением публичной идейно-политической борьбы, с началом переоценки советской мифологии «миф о декабристах» стали активно разоблачать, чтобы изъять его из набора лирического краеведения, выявить его искусственное и внешнее происхождение, несовместимое с местным патриотизмом. Одновременно это борьба за укрепление имперского сознания.

¹²⁸ Задачу сформулировать личное отношение к мотивам выбора, сделанного женами декабристов, поехавшими в Сибирь, предлагает вынести на урок в своей методической статье для учителей историк О.Розина: «Нет ли связи между безответственностью декабристов по отношению к семье и безответственностью их жен по отношению к детям?»// Розина О.В. История и психология. Жены декабристов (<http://yablor.ru/blogs/istoriya-i-psihologiya-jeni-dekabristov/994134>)

В большой степени содержание сибирской идентичности именно имперское. Сибирский город заявляет о своем значении как поприще большой истории, политических событий, сосланных исторических деятелей. В этом кроется противоречие между локальным (городским, региональным) и имперским. Советская идентичность соединяла имперское и революционное. Сибирские радители имперского величия дорожат связью с «большой историей» государства, но, естественно, не допускают сохранения в ней революционной темы: через разоблачение декабристов они стремятся освободить память места не только от них, но революционной тематики как таковой. И они оказываются чуть ли не единственной активной силой, имеющей свою политику памяти, в переформировании причастности края и города к большой истории.

«Мы думали, что знаем о них все...». В ноябре 2011 года спектакль о декабристах поставил Иркутский областной драматический театр. Спектакль называется «Темный лед». Основное действие, как и в читинском спектакле, впечатлением от которого я поделился, происходит в Читинском остроге. Как и в читинском спектакле, декабристы – коллективный образ. Только в начале «нулевых», через десять лет после разрушения советского мира, это был образ романтический и в композиции были соединены фрагменты и сюжеты литературных произведений, входивших в «золотой фонд» советской декабристской мифологии. В начале второго десятилетия – на иркутской сцене – возвышенный романтический образ старательно приземляют. Приземление не прочитывается как идейно-политическая задача, а выглядит как необходимость считаться с некоей правдой жизни. Театр об этом предупредил зрителей и критиков еще до премьеры через главного администратора, подчеркнувшего, что спектакль «ни в коем случае» не политический: «Эта постановка прежде всего о любви... У декабристов сегодня такой ореол: мученики, первые революционеры, а они были обыкновенные люди, как мы с вами»¹²⁹.

¹²⁹ Кокин Антон Драмтеатр увез из Иркутска свой новый спектакль чтобы показать в Чите и Улан-Удэ// «Восточный формат», 23.11.2011 г. (режим доступа <http://kommersant-irk.com/dramteatr-uvez-iz-irkutska-svoj-novyj-spektakl>)

Создатели спектакля, действительно, хотели уйти от советской мифологии о декабристах, и это довольно очевидно, при этом уйти не в разоблачение. В мире дворян, ставших каторжниками и не переставших быть аристократами, не только братство и солидарность, но и конфликты, скрытые и открытые противоречия. Наружу прорывается то, что привезено из досибирского бытия – не столько из общей светской жизни, сколько из событий 14 декабря и следствия, на котором будущие каторжники вели себя по-разному. Романтичность коллективного образа декабристов, а, особенно, их жён, всё же сохраняется, но в отличие от читинского спектакля «Тёмный лёд» – литературно-драматическая композиция в миноре. Минорная тональность связана не с судьбой узников, а именно с «правдой отношений». Для «правды отношений» автор текста и режиссер-постановщик призвали на помощь исторические очерки, архивные документы и воспоминания¹³⁰, которые вошли в спектакль фрагментами, став диалогами и монологами. Во всяком случае, декабристы («обыкновенные люди») в иркутском спектакле иногда говорят друг с другом языком источников и статей, актеры интонируют и эмоционально окрашивают письменную речь¹³¹. На фоне этой композиции единственная драматургическая линия – судьба супругов Огаревых. Николай Огарёв и его жена – персонажи вымышленные, собирательный образ декабристской пары. Введение конкретных персонажей, не имеющих однозначных исторических прототипов, даёт возможность вводить в спектакль события, которых не было, но «могли бы быть», выстраивать отношения, свидетельств о которых не сохранилось. Решается драматургическая задача, но и задача корректировки романтического образа. Как в начале пятидесятых, Юрий Шапорин и Всеволод Рождественский создали вымышленных Елену и Дмитрия, чтобы опера о декабристах стала советской, так авторы иркутского спектакля призвали супругов Огаревых, чтобы оспорить советскую мифологию «правдой отношений». Предлагаемые события, конфликты и отношения, о

¹³⁰ «Пьес о декабристах немного, их можно сосчитать по пальцам одной руки. И не все из них удачные, – рассказывает режиссер Геннадий Шапошников. — Журналист Игорь Якунин, точнее тот, кто скрывается под этим псевдонимом, собрал для нас информацию, а мы ее обработали. И этого произведения нет больше нигде. Оно есть лишь в нашем театре». (см. <http://www.dramteatr.ru/news/gromkaya-premera>)

¹³¹ Иногда со сцены звучит даже современный канцелярит («это не входит в мою компетенцию»), несколько раз герои говорят о себе «декабристы».

которых мы ничего не знаем из воспоминаний и исследований, подсказаны авторам житейским опытом или, точнее, ориентацией на житейский опыт и здравый смысл зрителей. Мы узнаём, что декабристки сплетничали как «обыкновенные женщины» и даже способны были организовать бытовой бойкот в своей коммунальной жизни. А некоторые детали и эпизоды подсказывает вкус к исторической экзотике, или даже экзотике театральной. «Правда отношений» супругов Огаревых доходит до сцены изнасилования. На программке и сайте театра вводная фраза: *«Мы думали, что знаем о них все...»*.

Оказывается, драматизма того, что донесли до нас архивы, воспоминания и историки, недостаточно, чтобы создать спектакль о декабристах, если отнести к декабристам как к «обыкновенным людям». Показанные в подробностях отношения супругов Огарёвых осложняют романтический образ, добавляют в жестокий романс некрасовских «Русских женщин» и советской «Звезда пленительного счастья» столько жестокости, что мелодия любви уже не слышна. А разделяет супругов то, что Николай, ставший борцом с самодержавием – как выяснилось в тяжелых каторжных условиях, крепостник по натуре. И моментом истины становится известие о слуге, погибшем потому, что бежал из Иркутска за Байкал, стремясь к своим «хозяевам»¹³². Николай, объясняясь с женой, которая потрясена случившимся, бросает ей: «В конце концов, он – всего лишь один из наших крепостных»¹³³. И получает в ответ обвинительный монолог с ударной фразой: «Не так уж тебе плохо на этой каторге!»¹³⁴. И опять можно вспомнить школьное «Страшно далеки они от народа!», применив большевистскую формулу уже не к смыслу революционного действия, а к масштабу страданий. В отличие от авторов патриотических памфлетов, авторы спектакля эту оторванность от простого народа не представляют как русофобию, здесь антинародность про-

¹³² Напомню, что слуги, сопровождавшие «из России» жён декабристов, не могли следовать с ними далее Иркутска.

¹³³ Впрочем, потрясение женщины можно объяснить и тем, что её и погибшего крепостного Никиту связывали сильные взаимные чувства. Крепостник по рождению Николай не готов допустить подобной мысли, но зрителю это допустить авторы спектакля позволяют.

¹³⁴ И зритель видит основания для этого заявления: с узников снимают кандалы, к ним приезжают жены.

явлена в крепостничестве¹³⁵. Крепостничеству противопоставлены глубоко усвоенные идеалы свободы и равенства: одна из героинь пьесы «мадам Лаврова» (французенка по происхождению) любит Россию, ненавидит крепостничество, непреклонно и выдержанно борется с произволом начальства, добывается соблюдения прав.

Тема Сибири присутствует скупно, но веско. «Мадам Лаврова» говорит иркутскому губернатору, что полюбила Сибирь. Через губернатора она после смерти мужа добывается разрешения уехать на Родину или хотя бы в центральную Россию, но, видимо, иркутский театр должен непременно сказать иркутскому зрителю, что не тяжести сибирской жизни принуждают светлую и мудрую героиню покидать наш край. И важно, что признается в любви к Сибири именно урожденная французенка. Европейское восхищение Сибирью (природой и людьми) – неотъемлемая часть сибирского патриотизма, и произнести признательные слова о Сибири должен самый европейский из персонажей. И, конечно, Сибирь – тот самый народ, от которого так далеки декабристы и к которому еще надо приблизиться столичным идеалистам. Об этом в разговоре с Лавровой напоминает иркутский губернатор: *«в Сибири тоже люди живут!»*. Представителю власти как человеку, более близкому к народу, чем столичные аристократы, по сути, переданы слова Марии Волконской из поэмы Некрасова:

Сибирь так ужасна, Сибирь далека;

Но люди живут и в Сибири!..

Есть в иркутском спектакле одна отчетливая «рифма» со спектаклем читинским – образ коменданта Лепарского. И дело не только в том, что Лепарский – герой положительный и притягательный, для того, чтобы создать именно такой образ, достаточно исторической репутации прототипа, свидетельств того, сколько он сделал для облегчения участи декабристов и какую признательность снискал в их воспоминаниях. Но старый генерал Лепарский в спектаклях двух сибирских театров – воплощение народности, национального характера. И став опеку-

¹³⁵ И народ не предстает как субстанция абсолютного добра. Когда Николай бежит из острога с каторжником «из простых», тот произносит монолог о бунте, озвучивая мечты и желания, которые должны убить декабристский идеал освобождения народа. Затем он бросает спящего Николая в тайге и уносит с собой не только припасы, но даже одежду «господина», чтобы тот был обречен на гибель.

ном осужденных мятежников и их жён, генерал (в реальности получивший назначение в Сибирь после вынесения приговора декабристам) оказывается в спектаклях как бы представителем Сибири – даже в большей степени, чем представителем царской власти. Сибирь становилась домом для декабристов, родным или чужим, уже в остроге – принимали они этот дом или нет. Сибирь сочувствовала декабристам – это естественное представление для сибирского театра и сибирского зрителя. И, когда Лепарский добивается освобождения каторжников от кандалов, это не только человечность старого доброго служаки, это человеческая поправка Сибири к жестокости державы. Не знаю, видели ли авторы иркутского спектакля тот читинский спектакль, впечатление от которого я передал в главке «Сибирские пироги», но сразу после премьеры они повезли показывать «Тёмный лёд» читинским зрителям – на ту сцену, где восемью годами раньше была поставлена композиция «Да будет честь на пьедестале!». В читинском отклике на гастроли иркутян местная журналистка констатировала «Тема декабризма объединяет Читю и Иркутск сильнее прочих»¹³⁶ и, кратко рецензируя спектакль, прежде всего, высказалась о том, как решен образ Лепарского.

Постановку о жизни декабристов в Сибири заказал Иркутскому драматическому театру Сбербанк в честь своего 170-летия. Банк выкупил для своих сотрудников все билеты на первые три показа постановки в Иркутске еще до того, как о премьеры узнали зрители. Премьера состоялась во второй половине ноября 2011 года. Если бы премьера состоялась месяцем позднее, в декабре 2011 года, Сбербанк, вероятно, не отменил бы коллективного культпохода на подобный спектакль, но смею предположить, что руководители банка не подчеркивали бы так громко и публично, что спектакль поставлен по их заказу. Для такого предположения не надо особой смелости: зачем финансовому гиганту скользкие камешки политических аллюзий, неизбежно возникших, когда на столичные площади, начиная с 5 декабря стали выходить граждане, протестующие против поведения верховной власти.

¹³⁶ <http://www.dramteatr.ru/news/irkutskaya-drama-chitinskaya-nedelya-ili-chitinskaya-nedelya-irkutskoy-dramy>

Часть вторая. Назначены ответственными.

«В молодости я думала “Ах”, но с возрастом начала понимать, что большие исторические шаги можно делать только обдуманно”

(искусствовед из Петербурга, 2000 г.¹³⁷)

«В циничном смысле...». В нулевые годы даже протестными и оппозиционными политиками декабристы поминались редко. А те, кто обращался к теме, довольствовался основами советской мифологии. Если же историческая ассоциация с декабристами целенаправленно обозначалась, как в детально рассмотренных Сергеем Эрлихом случаях с «разгромом НТВ» и с Михаилом Ходорковским,¹³⁸ то акцент ставился на теме расправы с инакомыслящими и на выборе судьбы преследуемого как мужественном и нравственном решении.

Протестная зима 2011-2012 года – точнее, комментарии к акциям протеста – акценты переставила. Определение «декабристы» не могло не возникнуть в декабре 2011 года и оно появилось в первых предложениях по названию – «Движение декабристов», «Движение 10 декабря». Но попытки использовать календарное совпадение и невольно возникающие в связи с совпадением исторические ассоциации провисли между техническими функциями и легкой иронией. Никакие аналитические аналогии не развивались, никаких рассуждений о преемственности – революционной, либо нравственной не прозвучало. 26 декабря 2011 года, в годовщину восстания «Эхо Москвы», провоцируя рассуждения на эту тему, разместило для голосования вопрос *«Декабристы. Возможно ли повторение в современной России?»*¹³⁹. К 24 часам проголосовало 725 человек. Распределение ответов приводить не стоит, поскольку к исследованию общественного мнения подобный опрос не имеет отношения, показателен иной факт – слушатели, дававшие ответ в эфире, в своих комментариях не пытались сравнить события декабря 2011 года с декабрем

¹³⁷ «Мятеж реформаторов. История декабристов и декабризма в России». Реж. А.Шишов, сценарист Е. Яковлева. Документальный телесериал в 4 сериях/, т/к Культура, 2000 г.

¹³⁸ Эрлих С. Е. Метафора мятежа: декабристы в политической риторике путинской России. – СПб.: Нестор-История, 2009 – 274 с. См. главы: «14 декабря на НТВ: оживление метафоры» (с.21-41) и «Декабрист Ходорковский: триумф метафоры» (с.42-113).

¹³⁹ http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/842891-echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

1825 года. Высказывались либо мнения о возможных дальнейших событиях, либо о невозможности или недопустимости сравнения, либо о том, как власти следует поступить с протестующими. Единственное отождествление декабристов и участников актуального протеста базировалось всё на той же ленинской формуле «узок круг».

В русскоязычной блогосфере, точнее, в том её сегменте, который обращен к истории, 26 декабря 2011 года было немало записей, посвященных годовщине выступления на Сенатской. Годовщина не юбилейная, но на редкость актуальная и можно было ждать, если не аналитических, то хотя бы публицистических сопоставлений. Однако, писали блогеры при этом почти исключительно на тему поражения и подавления восстания, нежели о его смыслах и причинах. Влияли на то актуальные события или нет, но для активных в интернете любителей русской истории годовщина восстания – это годовщина подавления (поражения) декабристов. Альтернативный взгляд – историческое значение выступления – высказывался иногда в комментариях. В том сегменте блогосферы, который посвящен злобе дня, слово «декабристы» в этот день появлялось вне связи с годовщиной: ассоциации иногда возникали в рассуждениях о перспективах протеста. Были, разумеется, и рутинные необязательные обращения к различным конструктам декабристского мифа при обсуждении разнообразных тем¹⁴⁰. Петербургский новостной сайт Neva24 в тот же день (26 декабря) употребил понятие «внезапный российский декабризм»¹⁴¹.

Сами участники протеста к аналогии, казалось бы, очевидной, обращались редко. Один из блогеров-тысячников Андрей Лебедев, рассуждая о перспективах протеста, с помощью формулы «новые декабристы» отличал участников митинга не только от власти и её сторонников, но и от политических групп, претендовавших на лидерство. Качества, которыми наделил блогер «100 тысяч критически мыслящих «декабристов» (по числу участников митинга): ответственность, основательность, гражданская

¹⁴⁰ Например в комментариях к заметке о лауреате Нобелевской премии Дж.Нэше, страдавшем шизофренией, было высказано восхищение терпением его жены и тут же возникло сравнение с женами декабристов и обсуждение мотивов их следования за мужьями – см. <http://newjob-newlife.livejournal.com/9946.html?thread=29914>

¹⁴¹ http://www.neva24.ru/a/2011/12/26/Boris_Grebenshhikov_JA_voln/

зрелость¹⁴². После митинга 24 декабря 2011 года он писал в своем Живом Журнале, названном «Российский манифест»:

«То, что следующий митинг, а с ним и «штурм» отложены до февраля или даже до марта, конечно, не устраивает радикальную оппозицию, националистов и левых, но «декабристы», которым есть что терять и есть чем думать – явно не их электорат»¹⁴³.

Именно эти две характеристики, из числа опорных для романтической притчи о вышедших на Сенатскую – *есть, что терять, и есть, чем думать* – и были важны для тех, кто прибегал к параллели между выступлением 1825 года и протестом 2011 года. Параллель подчеркивала социальную природу движения, не сводимую к политике. Ксения Собчак – в те дни один из спикеров движения¹⁴⁴, применила метафору «норковая революция» (сделав приметой достатка не сытость, а дорогую одежду) и определила, одновременно, участников протеста как «креативный класс». Когда в прямом радиоэфире журналист вынудил её обосновывать формулу, Собчак обратилась к параллели с декабристами:

«Я считаю, что в этом смысле если проводить какие-то исторические аналогии, то здесь уместна аналогия скорее с декабристским восстанием. В этом смысле декабристское восстание можно шутливо...

А.ДУРНОВО: Там все очень плохо кончилось.

К.СОБЧАК: Надеюсь, что в данном случае кончится гораздо лучше. Но в циничном смысле это тоже декабристы, это тоже «норковая революция» – если иметь в виду то, что я имела в виду»¹⁴⁵.

Аналогия с декабристами понадобилась для вывода: поскольку вышли не обездоленные и креативные люди, *«это и является невероятным сигналом к тому, что этих людей нужно*

¹⁴² «В отличие от горячих арабов москвичи не торопятся бросать камни в засидевшихся у власти «жуликов и воров», они хотят сначала понять, что будет дальше, когда «плохие парни» разбегутся?!»- <http://andrey-lebedev.livejournal.com/49344.html>

¹⁴³ Орфография источника (<http://andrey-lebedev.livejournal.com/49344.html>). Добавим, что автор назвал прошедшую 24 декабря акцию «митингом сытых», не вкладывая в слово «сытые» негативных коннотаций.

¹⁴⁴ Выступая на митинге 24 декабря, Ксения Собчак тоже подчеркивала, что ей есть, что терять, и призывала думать,

¹⁴⁵ Программа «Народ против»/радиостанция «Эхо Москвы» 18.01.2012 <http://www.echo.msk.ru/programs/opponent/849239-echo/#element-text>

услышать. И я уверена, эти люди вышли не за революцию, – они вышли, чтобы быть услышанными, чтобы власть начала с ними диалог»¹⁴⁶.

«Ничего не подделаешь – нужна карточка». Историческая аналогия оказалась соблазнительной и для «стороны власти», то есть для политтехнологической кампании по дискредитации московского протеста. «Метафору мятежа», хотя не очень настойчиво и эффективно, попытались использовать, чтобы продвинуть один из главных контрпропагандистских тезисов: страшно далеки «они» от народа. Один из основных разоблачителей «болотной оппозиции» Дмитрий Киселев, ведущий и зам. гендиректора ВГТРК, приписывал этот тезис самому «мнению народному»:

«Наших новых революционеров уже называют в народе декабристами и не только потому, что первый митинг прошел на Болотной площади в декабре, но еще потому, что идеалы и методы у современных декабристов схожи с теми, что были у их предшественников двести лет назад»¹⁴⁷.

Этим заявлением Дмитрий Киселев открыл ток-шоу «Исторический процесс» 21 марта 2012 года. Передача, вышедшая в эфир после президентских выборов, по замыслу была посвящена декабристам 1825 года и протесту декабря 2011¹⁴⁸. Дмитрий Киселев выступал в предусмотренной форматом роли обвинителя и обвинял как декабристов, так и протестное движение. Одна из основных задач передачи, судя по названию «Дело о политических заключенных», состояла в подведении исторической базы под судебное преследование задержанных участников протестных акций. Задачу сценаристы решали, опираясь на советскую мифологию о декабристах. Не прибегая к каким-либо «вновь открывшимся» фактам и конспирологии, те, кто готовил передачу, лишь поставили твердый акцент в исторических экскурсах на борьбу за власть и, соответственно, охарактеризовали мотивы актуального движения. Из ролика, предваряющего дискуссию и позиции сторон, мы узнали, что декабристами назвали себя лидеры

¹⁴⁶ Программа «Народ против»//радиостанция «Эхо Москвы» 18.01.2012 <http://www.echo.msk.ru/programs/opponent/849239-echo/#element-text>

¹⁴⁷ <http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11361-istoricheskiy-process-politicheskie-zaklyuchennyye-2012.html>

¹⁴⁸ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jo0doRAE8Es

внесистемной оппозиции (а не «народ», как до этого заявил Киселев) и это было проиллюстрировано развернутым высказыванием Ксении Собчак: «лучшие люди вышли на площадь», «креативный класс», «с холостыми патронами». В этом же введении в предмет предстоящей дискуссии (предварительно обозначая позицию Киселева) лидерам оппозиции приписали ожидание жертвы («а еще лучше нескольких») как повода для моральной дискредитации власти и организации жесткой борьбы против неё. В студии Киселев развил историческую параллель: декабристы повели себя предательски по отношению к обществу, а не только государю, рассорив «предательским восстанием» Николая с обществом. «Декабристы загнали его в этот коридор»¹⁴⁹. Участники передачи, выступавшие как «свидетели со стороны обвинения», приписывали нынешней оппозиции кровожадность, параллель с декабристами нужна была им для обозначения логики революции и для драматического резюме: жертвы неизбежны, если не остановить. Оппонирующая сторона, как выяснилось, не склонна или не готова была проводить аналогии между протестным движением и декабристами. Более того. Николай Сванидзе, возглавлявший сторону «защиты», сказал, что еще нет той исторической дистанции от последних событий, которая позволяла бы делать аналитические заключения. А сторона обвиняющая, как быстро выяснилось, могла апеллировать к взглядам и действиям декабристов лишь в пределах расхожих стереотипов из того же советского мифа, и уже в начале передачи перестала это делать из-за риска «подставиться» в агональной дискуссии. Вернулся к декабристскому сюжету в конце передачи единственный среди участников специалист по русскому девятнадцатому веку академик Пивоваров. Когда полемика вспыхнула по поводу определения арестованных участников акций протеста как политических заключенных, Пивоваров отчетливо артикулировал аргумент для выстраивания в один ряд декабристов и протестного движения: и в том и в другом случае речь идет о сопротивлении всевластию (самодержавию).

Кампания контрпропаганды после протестной зимы внесла еще один существенный нюанс в «подачу» темы декабристов

¹⁴⁹ Стоит подчеркнуть, что передача не только вышла в эфир, но и была записана после президентских выборов, то есть дискуссия не только смотрелась, но и велась в контексте ожиданий, что ждать от нового президентского срока Путина.

в публичном пространстве – востребованным для «вертикали власти» оказался конспирологический подход. Одна из самых выразительных версий, заостренная против внесистемной оппозиции, прошла по федеральному каналу ТВЦ также после президентских выборов и называлась «Мираж пленительного счастья»¹⁵⁰. Задача не скрывалась: фильм посвящен декабристам, но еще перед титрами была заявлена параллель между событиями декабря 1825 года и протестным декабрём 2011 года: «иногда призраки возвращаются. Они вернулись в 1917, в 1991, в 2011». Один из «экспертов», представленный в субтитрах как «писатель, специалист по истории спецслужб» именовал декабристов в лексике минувшей зимы: «Аристократический протестный электорат». Декабристы предстали агентами зарубежных врагов России и были вписаны в вековую историю иностранной спецоперации (прозрачные намеки на Англию), достигшей своей цели в 1917 году, а именно, установления нелегитимной власти. В эту же логическую линию мятежей и нелегитимности включен и финал Советского Союза: события августа 1991 года так же представлены как выход на площадь (и проиллюстрированы кадром, в котором человек ложился под танк). Политически актуальное резюме: «*Фактически 14 декабря 1825 года Николай Первый сорвал грандиозную и тщательно готовившуюся спецоперацию*». Декабристы, вместе с ними вся революционная традиция в России и, соответственно, те, кто включался в поддержку перестройки и в нынешние оппозиционные акции, предстали марионетками по корысти или недомыслию. Акценты в кратком изложении истории декабризма на оторванности от народа, безответственности и на том, что аристократы не понимали, кого и что они пробуждали, побуждая к освобождению (Муравьев-Апостол потакал солдатским погромам, боясь прогневить солдатскую массу). Авторы разоблачают бездумный идеализм декабристов, идеализм тех, кто унаследовал их марионеточные функции, и, наконец, идеализм интеллигентского (=советского) мифа о декабристах. Собственно, это – идеализм декабристского мифа – подчеркнуто

¹⁵⁰ Мираж пленительного счастья//автор и ведущая В.Кузьмина, реж. А.Горяинов, рук.проекта М.Пономарев – «ТВ Центр», 2012 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OQMBV6GGM6g

название передачи, обыгравшее название культового советского фильма, и отметила ведущая, появившись в заключительных кадрах. И в финале звучат имена «настоящих патриотов», оболганных или преданных забвению в отличие от воспетых. Один патриот (Илларион Васильчиков), видя колебания Николая, твердо заявил ему о необходимости расстрела мятежников (*«Государь, уничтожив несколько человек, Вы спасёте империю. Ничего не подделаешь – нужна картечь»*). Второй (Карл Толль) еще до получения распоряжения отправил подчиненных на склад получить боевые патроны. Третий (Александр Чернышов) – особо знаковая фигура. Олицетворяя служение России (*«первый российский прототип знаменитого Штирлица»*), он жестко (читай: принципиально) вёл следствие и был за это оболган. В «Послесловии» автор-ведущая опять обращается к злобе дня: *«Парадоксально, но факт: до сих пор девяносто процентов сведений о декабристах в школьных учебниках – из тех самых следственных протоколов»*, т.е. основаны на показаниях самих декабристов, которые «сотрудничали с следствием», рассчитывая этим, по версии автора, смягчить наказание. Декабристский миф и его присутствие в школьных учебниках, из которых вычеркнуты имена настоящих патриотов, боровшихся за страну, а не за её развал, предстает причиной повторений «выходов на площадь», протестных движений: *«Сенатская будет повторяться снова и снова, пока не развеется мираж пленительного счастья, за которым мы можем потерять собственную страну»*.

Трудно сказать, относятся создатели данной телепередачи к «русской партии» или к «партии власти». В реакции на протестное движение эти две политических группы совпали в пункте, который очень хорошо высвечивает декабристская тема: гражданское действие, оппозирующее власти, рассматривается либо как корыстное, либо как бездумное и безответственное, потрясающее основы. Сошлись «партия власти» и «русская партия» на разоблачении социального идеализма, несанкционированного властью. Каковы основы, трактуется в чем-то по-разному, в чем-то созвучно, но главное послание, которое читается, как в пропагандистской передаче на государственном телеканале, так и в конспирологических «расследованиях»: истинная гражданственность в служении государству и в поддержке власти.

Декабристы как исторический пример несанкционированного гражданского действия, если и пригодились для пропагандистской утилизации, то, скорее, с негативными коннотациями безответственности и недомыслия. Со стороны власти – контекст посягательства/заговора. Сторона протеста, по сути, этот пример не использовала. Высказывания Собчак стали исключением и были подхвачены оппонентами. Использовать помешали те же негативные коннотации безответственности и недомыслия, которыми обернулся советский миф. Контекст – тема поражения. В советской мифологии она не замечалась, поскольку поражение было временным, а победа революции неминуемой. И безответственностью предстало то, что раньше было прикрито исторической невозможностью.

Если подытожить, что внесли события протестной зимы и реакция на эти события в судьбу декабристского мифа, то пока можно говорить лишь о сиюминутной и малонасыщенной актуализации темы. Станет ли эта актуализация предисловием к дискуссии о декабризме в ближайшие годы или дискуссия и переконструирование мифа (либо его умирание) будут отложены до двухсотлетия восстания – сказать трудно.

«Подвижники державы»: консолидированная версия. Яростный сторонник имперского величия и, одновременно, уважения к советскому наследию, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков в телевизионной полемике о московской топонимии заявил, что *«нужна консолидированная версия отечественной истории»*, и нужно решить, наконец, кем были декабристы¹⁵¹. Характерно, что именно тема декабристов подвернулась как некий очевидный предмет ревизии социально активному писателю, пытающемуся соединить имперские и советские символы веры. Невозможно судить в индивидуальном случае Полякова, понял он неотложность ревизии декабризма после протестной зимы (он не вспоминал о ней в эфире) или высказал давно выношенную мысль. Но тезис о необходимости, если не единой версии истории, то единой линии общего исторического образования, логически и хронологически вписывается в реакцию на московское протестное движение.

¹⁵¹ Программа «Наблюдатель» на телеканале «Россия К» 14 августа 2012 года.

В дебатах, которые развернулись в 2013 году вокруг «госзаказа» на «единый учебник», тема декабристов не звучала. В «примерном перечне трудных вопросов истории России» (очевидно, трудных для преподавания), который вошел в историко-культурный стандарт, оперативно подготовленный рабочей группой, среди двадцати вопросов вопроса о движении декабристов нет. В хронологически выстроенном списке от «варяжской теории» до причин, последствий и оценки стабилизации в начале 2000-х за вопросом о петровских преобразованиях (причины, особенности, последствия и цена) следует вопрос о свержении монархии и победе большевиков. В самом проекте стандарта знание о декабристах отнесено в раздел «Эпоха 1812 года» и завершает эту эпоху, предполагая рассмотрение программ и тактики обществ будущих декабристов, восстания 14 декабря как «первого опыта открытого общественного выступления» и причин поражения.

Предугадывать тактики «политики памяти» со стороны тех, кто эту политику формирует во властных органах, бессмысленно – слишком много факторов и событийных поворотов создают конъюнктуру принятия политтехнологических решений. Казалось бы невозможно включение декабристов как образца в державный контекст – слишком далеко отстоит этот контекст от советского декабристского мифа, апеллирующего к революционному свободомыслию, но вот, например, на сайте «Литературный Екатеринбург» местный памятник декабристам, который включен в ансамбль с зданиями академии госслужбы, интерпретируют так: «Они символизируют гордых и не сломленных подвижников революционного преобразования великой российской державы»¹⁵². Неслучайно появление слова «преобразование» в

¹⁵² http://kniga.ompural.ru/content.php?main=lit_eburg_map&id=100062&top=100002. На другом екатеринбургском сайте в комментариях к материалу о памятнике формулируется то противоречие, которое разрешил «литературный» сайт: «Памятник хороший, нужный... но поставлен на мой взгляд не в том месте. Декабристы и будущие работники госслужбы на мой взгляд малопривлекательное сочетание. А может это намек, что каждый госслужащий в душе должен быть немного декабристом? Непонятно...», «Смотрела на памятник и думала что? кому?. Только спустя время прочитала, про него – удивилась месту расположения. Так то наше государство декабристов(своих служащих) ну не очень одобрило, мягко говоря». (http://traveltipz.ru/trips/attractions/id/9810_otzuvy-dekabristy-yekaterinburg-russia). В октябре 2007 года памятник стал местом и объектом акции представителей партии «Яблоко» в поддержку Ходорковского и против политических репрессий (см. http://www.e1.ru/news/spool/news_id-282804.html).

устах автора (или авторов), соединивших в своем высказывании державу и тех, кто выступил против самодержавия. Отметим, что памятник в Екатеринбурге – композиция о сибирской судьбе декабристов, которая начиналась в Екатеринбурге. Монумент изображает узников в кандалах, и надпись напоминает о «вкладе декабристов в культурное и экономическое развитие Урала». «Сибирское» содержание декабристского мифа, поскольку оно близко к теме народности, семантически созвучнее идее величия державы, чем мятеж на Сенатской: декабристы в Сибири и на Урале уже не мятежники, а подвижники. Введение сторонниками державности в обиход слова «преобразование» может обратить к теме декабристов не только литературные сайты. Революционные устремления высшего сословия в этом случае могут предстать как подвижничество во благо российского государства, но не лишенное трагических ошибок взаимонепонимания подвижников и власти.

В профессиональных исторических исследованиях, обзор которых не входит в предмет этого эссе, понадобилось время некоего карантина, чтобы парадигма «революционеров-предшественников» перестала доминировать в исследовании декабризма как движения и в биографических работах. В последнее десятилетие историки, пишущие о декабристах, сделали более прозрачными границы между кругом, в который объединили героев восстание и следствие, и людьми, социальными мирами, не вошедшими в этот круг. Профессиональная работа в этом духе создает потенциал для переконструирования декабристского мифа, если миф будет востребован. В публичном поле пример подобного подхода – с идейно-политической нацеленностью, но без конспирологических версий и откровенного обращения к злобе дня, с уважением к факту и персонажам – телефильм, посвященный Александру Бенкендорфу¹⁵³, авторы которого взяли основой для выстраивания сценария дружбу Бенкендорфа и Волконского. Фильм посвящен не декабристам, но открыто противопоставлен декабристскому мифу интеллигенции. Советская мифология представлена видеоцитатами из «Звезды пленительного счастья» и претензии к этой мифологии ясно заявлены и озвучены

¹⁵³ Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово. //Режиссер Александр Искин, сценарий Дмитрий Олейников. – ГТРК «Культура», 2013. – http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/39425

устами одного из историков. В телефильме идея государственного служения и революционного нетерпения рассматриваются как альтернативные модели поведения людей, цель которых – решение «вечных» российских вопросов. Александр Бенкендорф – патриот, служение которого России жертвенно, а не корыстно. Это служение стойка, хранящего идеалы, но выполняющего долг в рамках дозволенного историей и государем, который ценил его необычайно: Николай плакал, потеряв Бенкендорфа, и сравнил эту утрату с утратой дочери. А декабристы – отчасти жертвы непоследовательности власти. Их жажда преобразований происходила из ожиданий, вызванных намерениями Александра Первого, но тот дал «задний ход» своим реформистским планам и вышедшие на Сенатскую оказались заложниками верховной власти. Впрочем, и власть стала заложником своей непоследовательности: Николай, по версии авторов, вынужден был через себя переступить и начать царствование с жестокой казни. Антагонистом Бенкендорфа предстает не Волконский, участь которого друг боевой юности пытался облегчить и кроме того брал на себя заботы о его сыне, родившемся в Сибири, а генерал Чернышов, делавший карьеру на судебном преследовании декабристов. Телефильм не предложил новой конструкции мифа и, скорее, дополнил или скорректировал советскую, сопрягая тему декабристов с темой преобразования России «сверху» как единственно возможного пути. Как и в советской мифологии, декабрист – положительный исторический персонаж, сохраняется и драматическая романтика декабристских сюжетов. Коррекция в том, что история расставляет всё по своим местам не в соответствии с логикой революционной преемственности, а в логике житейской мудрости, а также государственного служения, которое ближе к житейской мудрости, чем революционные порывы. Вернувшись в Россию, Сергей Волконский первым делом приехал на могилу Бенкендорфа, а его сын Михаил, начав государственное служение в Сибири, стал сенатором при государе-императоре Александре Третьем и членом Государственного совета при Николае Втором. Странники идеала управляемых преобразований способны освоить тему декабристов как свидетельства трудности дела преобразований в России и реформ «сверху», как урок необходимости терпения, гражданской выдержки и лояльности.

Вопрос в том, понадобятся ли подобные исторические уроки как инструмент политтехнологии.

«Мы умрём, как славно мы умрём». Когда декабристов вписывают в некую выпрямленную Лениным и сталинским «Кратким курсом» линию русской революционной традиции для их дискредитации, в прицеле оказывается социальный идеализм как враг государственности. В исполнении Дмитрия Киселева в вышеописанной передаче это звучало так:

«Идеалы у декабристов возвышены, а методы – порочны. В результате поражение, кровь и разочарование. Культуры бунта, культуры протеста в России не родилось до сих пор. И в этом смысле так называемый креативный класс не очень изобретателен. Поэтому, я считаю, сегодня крайне важно обсудить суть декабризма: трагический разрыв между высотой помыслов и идеалов и порочностью методов переустройства общества и воздействия на власть».

Если не врагом, то критиком власти был идеализм советской интеллигенции позднего времени, переработавший декабристский миф под себя. И политтехнологи сегодня наносят удары именно по этой, советскоинтеллигентской версии мифа. А у тех, кто разделяет идеалы несанкционированной гражданственности, то есть у тех, кто «вышел на площадь» зимой 2011-2012 года, упорное нежелание замечать линию исторической преемственности с декабристами. И это серьезный показатель не только нежизнеспособности советского декабристского мифа, но и уязвимости сегодняшнего социального идеализма. Казалось бы, основания для аналогии безусловны – выход на площадь и протест против самодержавия, однако, немногие из движения решились на эту аналогию. Ксения Собчак, для которой довод «мне есть, что терять» был важным публичным аргументом для обоснования продуманности сделанного ею лично выбора – скорее, исключение. Протянуть нить исторической преемственности от стояния на Сенатской с требованием Конституции к митингам и шествиям «за честные выборы» нужно было через советский идеализм, которому принадлежал декабристский миф последние десятилетия. В этом, а не в выстреле Каховского или проектах Пестеля, крылись внутренние трудности и боязнь (либо нежела-

ние) задеть тему. Вытеснение из исторической памяти «креативного класса» декабристского мифа – неготовность обозначить линию преемственности с советским идеализмом.

В очерке, посвященном Юрию Трифонову, где одна из основных идей – преемственность советского от русского, утраченная «постсоветским», Дмитрий Быков заметил, что любимые советские писатели обращались в русскую революционную историю за социальным идеализмом, помогающим противостоять мерзостям жизни, и отвлекаясь при этом от того очевидного обстоятельства, что революционные устремления оборачиваются тиранизмом:

«приходится ценить вот эту декабристскую готовность переть против рожна, то вещество идеализма и нонконформизма, которое при этом выделяется»¹⁵⁴.

Впервые этот очерк писатель опубликовал за четыре года до протестной зимы¹⁵⁵. Весной 2011 года Дмитрий Быков выступает в рамках своего цикла публичных лекций «Прямая речь» с темой «К типологии русского декабризма». Движение декабристов он трактует как восстание элиты, как один из случаев бунта тех представителей господствующего слоя, которые не хотят и не могут «прогибаться» перед неограниченной верховной властью. И рассматривая собственно движение декабристов как самый значимый из бунтов элит, дающий название феномену, Быков уже никак не касается социального идеализма в причинах и мотивах выступления декабристов, делая упор на противостояние неограниченной силе:

«Когда мне было семь лет, мама мне рассказывала, что декабристы не такие уж хорошие, но они правы потому, что не давали себя унижить»¹⁵⁶.

Обращался ли Дмитрий Быков к параллели между людьми на Сенатской и людьми на Болотной, когда стал одним из спикеров протестного движения, с полной определенностью ответить не могу – мне таких обращений найти не удалось. Преемственность между идеалами гражданственности в современной России и советским идеализмом сложная и крайне противоречивая, что и проявилось рельефно в протестную зиму. Случай Быкова здесь

¹⁵⁴ Быков Д. Советская литература. Краткий курс. – М: ПРОЗАиК, 2012, с.312.

¹⁵⁵ Быков Д. Отсутствие//Русская жизнь, 2008, 1 февраля.

¹⁵⁶ <http://video.yandex.ru/users/jewsejka/view/75/>

особенно важен и интересен, потому что он никогда не только ни стеснялся говорить о своих симпатиях к советскому веку, но и говорил об этом ни без вызова. Вот отчетливо выраженный взгляд из исторического миропонимания советского интеллигента на неожиданный протестный взрыв, высказанный в период между декабрем 2011 года и мартом 2012 года:

*«Я смотрю на этих людей и не верю в то, что они победят. Но то, что они это делают, я одобряю. Знаете, они больше всего ассоциируются у меня с декабристами: ни с Октябрьской революцией, ни с кем иным там. А вот когда декабристы собирались на Сенатскую площадь, там, помните, Каховский ходил по рядам и говорил «Мы умрём, как славно мы умрём». По мне это люди необыкновенной силы духовной, потому что ощущение общности людей, подъема духовного очень нужно. И это подпитывает, безусловно».*¹⁵⁷

Это цитата из монолога Натальи Иосифовны Быковой (московский учитель литературы, мать писателя и публициста Дмитрия Быкова). Озвучивая взгляд советского идеализма, Наталья Иосифовна одновременно осознает его как взгляд со стороны, не сомневаясь в нём, она сомневается в исторической востребованности идеалов гражданственности. И через тему обреченности гражданской активности звучит мотив кризиса социального идеализма.

*«Но я не верю, Дима со мной спорит безумно – но я не верю в целесообразность этого, я не верю в победу этого. И я смотрю на этих людей, как на людей, обреченных жертве. И вот сегодняшние люди – большинство – идущие на эти митинги, мне представляются вот такими: они тоже мало кто верит в победу своего дела. Помните этот знаменитый тост: «За успех нашего безнадежного дела»? Вот это я так воспринимаю. Я вся эта история мучеников – народовольцев, террористов, декабристов – она, к сожалению, сегодня никому не нужна. Потому что каждому человеку хочется прожить жизнь осмысленно. Но это очень страшно».*¹⁵⁸

¹⁵⁷ «Гражданин поэт. Прогон года» Автор и реж. В.Кричевская ИП Васильев, 2012. С 79 мин. по 82 мин. после кадров с шествием протестующих, которые сопровождались чтением отрывка стихотворения из цикла «Гражданин поэт» с финальной фразой «Удав умеет лишь с бандерлогами – с людьми не умеет он». <http://www.youtube.com/watch?v=5DEWy1eyN9w>

¹⁵⁸ Там же

Устойчивость советской мифологии объяснялась не столько силой советской пропаганды, сколько тем, что многие её конструкции сочетали советскую форму и язык с культурным наследием русского девятнадцатого века, то есть были исторически санкционированы русской классикой. Одной из таких конструкций, поддерживавшей «связь времен», была и декабристская мифология. Теперь советский декабристский миф не выглядит надежной родословной для социального идеализма. Нечто утеряно или осознано как сомнительное – прежде всего, «советское массовое» в нём, т.е. поступь революционных поколений, звучавшая в ключевой официальной формуле, и романтика исторически обреченного гражданского действия.

Дистанцирование от советского тех, кто выходит на площадь сегодня – неизбежно дистанцирование от традиций социального идеализма. Не от идеализма как такового (без которого был бы невозможен тот масштаб акций, который мы видели зимой 2011-2012 года), а от его родословной, поскольку родословная прошла через «советский век». Дистанцируясь от советского идеализма, дистанцируются от его кризиса. Но от советского века родословную социального идеализма в нашей стране можно отделить только при больших усилиях. Если же усилия посвятить не этому, а саморефлексии социального идеализма, то родословную надо постараться принять в полном объеме. И «декабристы» – одна из тех тем, которая помогает это сделать. Точнее, может помочь, пока сохраняется преемственность темы через представителей разных поколений советской интеллигенции, то есть через тех людей, для которых социальный идеализм – российская культурная традиция. И для учителя словесности Наталии Быковой и для историка-академика Юрия Пивоварова, заявившего на упомянутой выше телепередаче о борьбе с самодержавием, декабристы – естественный образец гражданственности, несмотря на то (и благодаря тому), что они хорошо представляют, сколько в декабристский миф внесено советским веком. Сам миф в его сегодняшнем состоянии, когда основные конструкции оказались уязвимыми, питать социальный идеализм уже не способен: преемственность очевидна, а ссылаться на неё нельзя.

Нетрудно бросить взгляд с высот исторического объективизма и признать, что вернувшись из небытия в эпоху реформ

Александра Второго, декабристы оказываются ненужными ни тем, кто считает себя реформаторами современной России, ни тем, кто требует более решительного реформирования. Но трудно смириться с тем, что вместе с декабристским мифом будет отброшено за ненадобностью наследие декабристов. В наследстве не только программы, с которыми мятежники подошли к революционному действию, но сам опыт гражданского действия и поражения, и, может, в первую очередь, опыт их переосмысления российской истории, собственной судьбы и взглядов.

Почему в первую очередь? Потому, что есть трудность гораздо более существенная, чем желание/нежелание предстать наследником советской интеллигенции. Трудность превращения социального идеализма в идеализм практический.

Часть третья. За стенами комендантского зала.

«...14 декабря стреляли картечью в самых трезвых и здравомыслящих людей страны»

Яков Гордин¹⁵⁹

«Они были организованными, умными и добрыми людьми, но в деле организации заговоров – беспросветными дилетантами и глупцами. В событиях 14 декабря 1825 года эти свои качества они проявили в ярчайшей степени. Они имели столько шансов победить и ни один – надо же так: буквально, ни один! – не использовали!»

Владимир Томсинов¹⁶⁰

Спротивление демонизации декабристов начали сами декабристы. Александр Поджио в своих «Записках» энергично разоблачает представление о тайных обществах декабристов, приписывая «судьям», то есть тем, кто вел следствие после декабрьских восстаний и входил в Следственный комитет, намеренное создание этого представления¹⁶¹. Со школьных лет зная, что

¹⁵⁹ Гордин Я. События и люди 14 декабря: Хроника. – М: Советская Россия, 1985, с.284.

¹⁶⁰ Томсинов В.А. (проф.Владимир Томсинов) Сперанский. – М: «Молодая гвардия», 2006, с. 372

¹⁶¹ Поджио А.В. Записки//Поджио А.В. Записки, письма. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989 (серия «Полярная звезда»). Это первая публикация авторского варианта текста, не подвергнутого предварительной редакции. Составитель тома и автор предисловия Н.П.Матханова показывает по содержанию «Записок», что они были написаны Александром Поджио во второй половине 60-х годов (там же, с.53).

Союз Спасения сменился Союзом Благоденствия, а затем возникли Северное и Южное общества, сначала впадаешь в некоторое недоумение от той полемической энергии, с которой один из декабристов отрицает общеизвестное. Составитель и комментатор тома в серии «Полярная звезда» предположила даже, что Поджио приносил правду факта в жертву своим главным идеям и рассчитывал, что через сорок лет после событий примут на веру его свидетельства¹⁶². С этим трудно согласиться читателю «Записок»: их автор совершенно искренне убежден, что все организации, в которых он участвовал, и которые впоследствии были названы декабристскими и объявлены тайными, не были таковыми. При этом Александр Поджио нигде и никак не отрицает, что восстание готовилось. Возможно, если бы Поджио довел свои «Записки» до рассказа о самих обществах, то никакой загадки и не было бы. Но мы не знаем, был ли такой рассказ в замысле автора – тот текст, который он оставил, посвящен не воспоминаниям о революционной деятельности, а исследованию вопроса, что стоит за этой демонизацией. Опровержение «тайности» адресовано тем, кто вёл следствие и выносил приговор. И опровергает декабрист не существование обществ, а именно то, что они якобы были тайной для «общества» и в том числе для тех, кто допрашивал его и других декабристов. Особенно мысль Поджио занимают те, кого он увидел в момент оглашения приговора в качестве приговаривающих. Им понадобилось отделить подследственных некоей зловещей чертой («заговорщики!») от себя, хотя они знали о намерениях, а многие и сочувствовали, если не намерениям, то целям. До событий сочувствовали, а после событий, призванные верховной властью, стали делать всё, чтобы не просто откеститься от побежденных, а вписаться в новые правила игры, приняв их, эти правила как логику жизни. История вроде привычная и психологически объяснимая. Но почему сюжет, в котором те, кто вчера разделял твои взгляды и цели или, как минимум, готовы были понять тебя, сегодня, когда взгляды объявлены ложными, а цели преступными, становятся твоими

¹⁶² «Вероятно, Поджио стремился доказать свои основные идеи: народ не был готов воспринять идеи декабристов, а правительство в своих целях преувеличило размах и опасность движения. Стремясь обосновать их, Поджио, со свойственной ему склонностью к преувеличениям, отрицал даже очевидное – что восстание было подготовлено тайным обществом» (там же, прим. 128, сс. 487-488).

искренними и непримиримыми обвинителями – этот сюжет оказывается ключевым для русской истории. Сюжет настолько привычный, что для его остранения, необходимо стать обвиняемым. И настолько ключевой, что для его объяснения необходимо заново посмотреть на русскую историю. Станным, если не абсурдным, предстает момент оглашения приговора: лица (и голоса) у судей не просто знакомые, а родные можно сказать, но они – судьи, и они вычеркивают своих прежних товарищей и близких из жизни. В памяти Поджио происходит остранение, или он пережил это впечатление тогда, в полдень 10 июля 1826 года в комендантском доме Петропавловской крепости, мы не знаем. Но Александру Поджио как человеку историческому недостаточно объяснений бытовых и психологических. Странность ситуации, в которой кто-то отмеряет дозы твоей жизни, заставляет искать логику поведения этого кого-то в истории России и попытаться уложить русскую историю в какую-то логику, чтобы понять, как она, история, формирует людей и отношения.

Разжалованные из истории. Первый эпитаф к этой части – о «самых трезвых и здравомыслящих» – цитата из эпилога одной из лучших позднесоветских книг о декабристах. Второй – о «беспросветных» – из биографического исследования о графе Сперанском. Радикально противоположные оценки не объяснить разницей эпох, в которые эти оценки высказаны¹⁶³, и не объяснить разной степенью знания предмета – оба автора в высшей степени квалифицированы и профессиональны, да и по своим общественным взглядам, смею судить, близки. Оба сочувствуют целям декабристов. И оба считают, что мятежники могли победить¹⁶⁴, а это отнюдь не преобладающая точка зрения. И тем не менее есть диаметрально противоположные оценки, расхождение которых не стало бы нашим предметом, если бы из этого расхождения не следовало бы диаметрально противоположное отношение к историческому опыту декабристов. Если они – «самые трезвые и здравомыслящие», то мы обязаны отнестись к их

¹⁶³ Хотя в советское время Томсинову пришлось бы подобное мнение формулировать мягче.

¹⁶⁴ Владимир Томсинов прямо сказал об этом в процитированном фрагменте. А Яков Гордин детально исследует, как именно декабристы могли победить 14 декабря 1825 года в телефильме «Бунт на Сенатской» (3 серия из цикла «Мятеж реформаторов», авторы А.Шишов, Е.Якович, 2000) <http://video.yandex.ru/users/olgador-dor/view/120/>

мыслям и действиям как к своему наследию. А если мятежники оказались «беспросветными дилетантами и глупцами», то нас в их истории интересует разве что, как это могло произойти с «ответственными и умными». И явно сочувствуя декабристам, Томсинов при этом считает, что в историю они вошли благодаря расправе над ними¹⁶⁵. Иначе говоря, не было в опыте декабристов чего-либо, кроме приговора, что могло бы оставить их имена в истории.

Впрочем, может быть, столь радикальная оценка «деловых и профессиональных качеств» офицеров, неудачно выступивших на Сенатской, объясняется тем, что издающий оценку не видит их исторического наследия? Возможно, оно ему не интересно, и наследником «упустивших победу» он быть не собирается. Ему интересен опытный администратор и мыслящий реформатор, которому декабристы в случае успеха переворота готовы были вручить бразды республиканского правления, и который после подавления мятежа получил от нового императора задание разработать сценарий расправы над мятежниками.

Его герой, человек политически опытный и неоднократно битый, уже и до мятежа сомневался в возможности удачи тех людей, с которыми был хорошо знаком¹⁶⁶. И сомнения оправдались:

«...Храбрые, инициативные на полях сражений, они оказались трусливыми, нерешительными на политической арене. Вступив на нее, они начисто лишились рассудка и расчетливости. А Сперанский был в высшей степени расчетлив после того, как вернулся в Петербург»¹⁶⁷.

И, когда молодой император поручил разработку процедуры суда над мятежниками и их наказания, расчетливый реформатор проявил «верх преданности императору Николаю и делового рвення»¹⁶⁸. Николай дал шанс опытному чиновнику доказать

¹⁶⁵ «Разные бывают в России награды – некоторые существуют в облике наказания. В самом деле, не казнь ли, не каторга ли декабристов зажгли огонь их славы, не погасающий до сих пор? Не император ли российский своей реакцией на их восстание возжег огонь? Сами-то восставшие дворяне смогли, пожалуй, только дров нагачить для костра своей славы». Томсинов В.А., ук.изд., с.379.

¹⁶⁶ «Личности названных людей отбрасывали благородный ответ на их дело. Но вместе с тем заставляли думать, что открытое их выступление против самодержавия потерпит неудачу (там же, с. 372)

¹⁶⁷ Там же

¹⁶⁸ Там же, с.373

свою непричастность к преступному замыслу¹⁶⁹, а Сперанский использовал шанс с присущим ему блеском, проявив то искусство казуистики, которое и делало его незаменимым царедворцем. В Сперанском «окончательно победил чиновник»¹⁷⁰ и он, преодолевая свои чувства по отношению к тем, многие идеи которых разделял, стал «проводником воли его величества, причем необыкновенно умелым»¹⁷¹. Впрочем, если принять точку зрения, что декабристы вошли в историю благодаря расправе, учиненной самодержцем, то искусство Сперанского послужило и декабристам:

«Сперанский придал приговору над декабристами более утонченный вид. А для взошедшего на эшафот и положившего голову на плаху тот, кто заточил острее топор, безусловно, великий благодетель!»¹⁷².

Сперанский решил задачу, как всегда, нетривиально и сумел сохранить себя для советов самодержцу. А его советы Александру Первому и Николаю Первому входят в золотой фонд российского реформаторства.

В начале нулевых партия «Союз правых сил», игравшая тогда заметную роль на сцене политической жизни, предприняла проект «История либерализма в России»: восстановление имен «либеральной» линии российской общественной мысли и политики через публикации, введение в топонимику, установление мемориальных знаков. Первую половину девятнадцатого века представлял прежде всего Михаил Сперанский, а декабристам не нашлось места среди этих имен даже в разряде «и другие». Идеологи проекта обошли таким образом коллизию «декабристы – Сперанский», что им позволило избежать крайне трудного вопроса, возникающего перед теми, кто объявляет себя наследником Сперанского: отнестись с какой-то степенью отчетливости к неизменно повторяющемуся историческому выбору российско-

¹⁶⁹ Владимир Томсинов приводит записку фрагмент из отчета Сперанского Дибичу о совещании 1 июня 1826 г. «главных действующих лиц судилища над декабристами» (с.374). Записка производит на опытного правоведа, исследователя деятельности и взглядов Сперанского «грустное впечатление» (с.375): его герой «уже предreshал вынесение смертного приговора и беспокоился о том, чтобы в состав суда не вошли те, кто попытается этот приговор смягчить» (там же).

¹⁷⁰ Там же, с.375

¹⁷¹ Там же, с.376

¹⁷² Там же

го либерала между оппозицией власти и искусством влияния на власть предрержащих. В результате они избежали обращения не только к альтернативам политического выбора, но и к идейному наследству «людей 14 декабря» и не только к тем программам, которые формулировались до декабрьского выступления, но и к тем мыслям, в которых уже участвовал постмятежный опыт.

Наследство принимается избирательно. И здесь помогает ленинская формула: советская конструкция декабристского мифа, выросшая на её основе, акцентирует внимание на мятеже, а не на конституционализме, что и позволяет идеологам либерализма в нынешней России выпрямлять либеральную линию, умолчав о декабристах. Линия, проведенная «от Сперанского до Сахарова» без декабристов (и даже Герцена, не говоря уже о других революционных демократах), игнорирует, в результате, те интеллектуальные и нравственные трудности, без проработки которых либеральная мысль в России может имитировать развитие, но не может развиваться.

Если не сводить политику к сцене и закулисию, то, как ни парадоксально, объявить себя преемниками декабристов сегодня стоило бы государственным-модернизаторам, которым просвещенный патриотизм и конституционализм декабристов может служить весомым аргументом в доказательство, что декларируемые задачи нынешней властной элиты отвечают историческим устремлениям российского общества. Мешает именно сведение политики к сцене и закулисию, имитационный характер нынешнего конституционализма и перспектива получить трудные для ответа вопросы, если таковые будут ставиться теми, кого этот имитационный характер не устраивает. Программы декабристов – не только отмена крепостного права и конституция, но и реформирование империи. Все версии такого реформирования предполагали решение ключевой проблемы российского государственного устройства – обеспечение нестесненного развития краев и земель России, были устремлены к реальной, а не виртуальной федеративности. В этом (и не только в этом) идейное наследие декабристов для современного политического режима потенциально опасно. Я далек от мысли, что подобная перспектива просчитана кем-либо из идеологов или политтехнологов, обслуживающих нынешнюю российскую власть. Родословную свою они

не возводят к декабристам не в силу дальновидности, а стараясь в своей исторической легитимизации подалеже держаться от любых мятежников и поближе к «народу». Ленинская формула усвоена на школьной скамье – и место декабристов как исторических предтеч большевистской революции, и то, что «страшно далеки они от народа». Но актуализация темы декабристов трудно согласуется именно с имитационным характером социальной модернизации, гражданского общества, западничества. Поэтому тема либо не воспринимается технологами имитации, либо замалчивается как неизбежно несущая в себе коды ответственности элиты за реальность социальной модернизации.

Едва ли не единственными, кому понадобилось сегодня идейное наследство декабристов, оказались национал-демократы – достаточно новое для России идейно-политическое направление. Их программа – учреждение реальной федерации по национально-территориальному принципу (другой вопрос – насколько реальна в России подобная задача). В необходимом поиске предтеч в русской интеллектуальной и политической истории, конструируя традицию, они обратились к декабристам не как к революционерам, а как к националистам и патриотам. Национал-демократы в отличие от либералов не только способны отказаться от имперской оптики, они целенаправленно решают задачу преодоления искажений, заданных этой оптикой, и пытаются соединить культ европеизма с русским национализмом¹⁷³. «Узкий круг» национал-демократов – исключение в политическом поле, не очень заметное, да и так же, как и в других идейно-политических группах, идеологи этой группы более склонны к твердым суждениям, нежели к обсуждению трудных вопросов. Очень вероятно, что и они перейдут от открытия имен и книг к цитированию авторитетов, чтобы на основе цитат записывать предшественников в единомышленники и таким образом выстраивать традицию под себя и свои политические цели¹⁷⁴. Но

¹⁷³ Декабристы, как стремится показать Сергей Сергеев, научный редактор и один из ведущих авторов «Вопросов национализма» – наследники традиционного дворянского патриотизма, то есть имперско-великодержавного. Благодаря войне 1812 года, дворянский патриотизм из династического трансформировался в националистический, верно-подданные стали гражданами (см. Сергеев С. Восстановление свободы. Демократический национализм декабристов// «Вопросы национализма», №2, 2010).

¹⁷⁴ После публикации статьи Сергеева одна из организаций национал-демократического толка принимает решение провести акцию в честь 185-летия восстания, Сергеев за-

сейчас эта группа исключение именно потому, что ищут предшественников, а не героев империи.

В советское время декабристы, будучи провозвестниками будущей революции, были в лагере победителей. Декабристский миф акцентировал их нравственную победу над самодержавием. Теперь их опыт перестал быть опытом победителей, теперь они проигравшие – не революционеры, а всего лишь мятежники, заговорщики. А империи вырастают на победах, на культе побед, этим и живут. То обстоятельство, что декабризм предметом дискуссии не стал, достаточно рельефно показывает одну из причин неразвитости в современной России такого социального института как общественная дискуссия – доминирование имперского сознания. Оно может рассматриваться не только как следствие, но и как причина неразвитости общественной дискуссии. Одно из свойств человека империи – неумение принимать в наследство поражения, переводить их в вопросы. Функции истории по сей день – поставлять аргументы для утверждения своей позиции, но не ставить вопросы.

Исторический человек в отсутствии работы. Президентские выборы 2012 года. Телеэфир доверенных лиц Владимира Путина и Михаила Прохорова. Участниками дебатов были соответственно Никита Михалков и Ирина Прохорова. Монолог о декабристах произнесла Ирина Прохорова в ответ на вопрос оппонента, а зачем, собственно, её брат – богатый и красивый – баллотируется в президенты. Пример декабристов понадобился, чтобы подчеркнуть, что в политической активности могут быть не только корыстные мотивы, а, напротив, готовность «поставить всё на карту» ради обновления России. Причем, в тех же дебатах через несколько минут Прохорова подчеркнет, что брат идет во власть не ради революционной ломки, а ради системных изменений, то есть идеал гражданственности в этой позиции достаточно четко отделен от романтики революции. Никита Михалков прореагировал на монолог о декабристах репликой об «умах не-

писывает в своем ЖЖ: « Рад не только за себя, как за автора, чьи идеи используют в политике, но и за декабристов. Их надо раскручивать. Они действительно главные русские националисты в нашем прошлом, с ними никто не сравнится. . . Они могут стать отличным брендом «предшественники» для национал-демократов, причем брендом незахвачанным, свежим» (<http://sm-sergeev.livejournal.com/2010/11/22/>)

зрелых», выступив не столько как доверенное лицо кандидата, сколько как полномочный представитель сословной державы. Этим эпизод и характерен – встречей различных отношений к истории, за которыми две разных функции интеллигенции, если не сказать, две различных интеллигенции. За репликой об умах незрелых (которые оттого и внимания не заслуживают) не только имперское сознание, но и сознание сословное, в данном случае, представителя интеллигентского сословия. В свете этой сословности история – часть символического капитала, выгодный или невыгодный объект для работы, ресурс, как полезные ископаемые для предпринимательского сословия. Для интеллигенции как субъекта исторического действия история – человеческий опыт, в данном случае, опыт социального идеализма, нацеленного на практическое действие. Поражение – часть этого опыта, как и осмысление поражения. Понятно, что сословность и историческая субъектность (или практический идеализм) могут совмещаться и в одном человеке. Но это совмещение крайне противоречно и делает само существование интеллигенции проблематичным. Сословность интеллигенции предполагает такие типы поведения как обслуживание власти ради её просвещенности или, например, обращение к обществу от имени нравственных и культурных ценностей. Эти типы поведения могут совпадать, и тогда мы видим морализаторство на службе у власть предержащих, а могут разойтись, когда морализаторство или демонстрация культурной избранности становятся *profession de foi*. Но и в том и в другом случае интеллигенту трудно выстраивать самостоятельные отношения с историей: он оказывается либо в слишком плотной – политической – связи с ней, что дает иллюзию участия, но не дает возможности отстраниться, либо, напротив, оказывается в роли полпреда истории, раздающего от её имени моральные оценки современности и современникам. И в том и в другом случае рефлексия социального идеализма оказывается не только невыполнимой задачей, но даже и не артикулированной. Именно эту ситуацию мы и переживаем сегодня, определяя её как исчезновение интеллигенции.

Что означает умолчание о декабристах сегодня – эпизод или изъятие декабристов из исторической памяти за ненуж-

ностью и неудобством употребления?¹⁷⁵ Для публичных высказываний, как адептов постсоветских изменений, так и их критиков с позиций «всего цивилизованного мира» (то есть европейско-западнических), тему декабристов делает неудобной сама причинно-следственная связь между дворянами-революционерами и советской утопией, которая прочно закреплена декабристским мифом. А деконструкция мифа в том случае будет его переосмыслением, если будет устойчивой потребность в открытии актуальных смыслов, что, собственно, т.е. открытие актуальных смыслов и делает историю предметом общественной дискуссии. Но первое условие такой работы с историей – существование самой общественной дискуссии. Агональная риторика доминирует в дебатах по поводу истории и, в целом, определяет атмосферу публичной презентации взглядов. Подобные дебаты часто предстают в медиа-пространстве как имитация общественной дискуссии, но только в исключительных случаях поднимаются до уровня таковой, т.е. рождают новое (для участников и наблюдателей) знание, формулируют новые смыслы. Атмосфера полемики акцентирует в историческом наследии не «что сказано» (и требует прочтения), а «кем сказано». В регистре «кем сказано» декабристы оказываются заложниками ленинской формулы. Место декабристов как исторических предтеч большевистской революции затвержено нынешними полемистами со школы и они предпочитают не только не читать Трубецкого или Поджио, но просто не поминать их. Распад советского мира, импровизация нового социально-экономического и политического устройства России актуализировали те «вечные» вопросы устройства страны, которые в свое время вызвали и движение декабристов, и «великие реформы». Но еще актуализировали и те «вечные» трудности, которые ведут к поражению гражданских движений (еще до того, как они возникают), и к срыву реформ.

¹⁷⁵ Наглядную картину дают системы поиска в русскоязычном Интернете. По количеству страниц и документов в Рунете, в любой из основных поисковых систем (Google, Rambler, Yandex, Mail) декабристы на несколько порядков уступают не только деятелям двадцатого века, но, например, Петру Первому, Ивану Грозному, Александру Третьему, Павлу Первому.

Против правил. На самом излете советской истории, в 1990 году, в тот момент, который можно назвать, если не моментом истины для советской интеллигенции, то преддверием момента истины, Вячеслав Пьецух опубликовал книгу «Роммат», жанр которой определил как роман-фантазия на историческую тему. Советское, впрочем, не входит в предмет размышлений автора, а слово «интеллигенция» встречается разве что в производном термине «интеллигентщина», когда Пьецух рассуждает о причинах рождения исторического героя, явившегося России в личностях декабристов. Роман Пьецуха нередко вспоминают, когда речь заходит о декабристах, но исключительно, чтобы привести пример альтернативной истории: писатель рассматривает версию возможной победы дворянских революционеров. Однако, и эта альтернативная история, и художественная реконструкция истории состоявшейся в книге, напоминающей больше историософский трактат, нежели какой-либо жанр художественной прозы, подчинены обоснованию концепции «романтического материализма» («роммат»). Романтический материализм Пьецуха представляет историю как накопление человеческого в человеке. Декабристы – не просто звено русской истории, понимаемой так, а доказательство предложенного понимания истории. Иначе, как исторической непреложностью накопления человеческого¹⁷⁶ не объяснить то, что на смену, с одной стороны, скорбномыслящим одиночкам, обличавшим самодержавие, а, с другой стороны, интриганам и корыстолюбцам, совершавшим дворцовые перевороты, пришли революционно настроенные герои, способные к жертве ради высших исторических смыслов, пришел исторический человек.

За полтора десятилетия до выхода в свет романа Вячеслава Пьецуха в научной литературе о декабристах появилась одна из самых заметных и цитируемых работ, посвященная как раз процессу происхождения исторического человека. Это статья Юрия Лотмана, которая открывала сборник о литературном наследии декабристов¹⁷⁷, вышедший к 150-летию восстания на Сенатской.

¹⁷⁶ «техническая цель истории есть последовательное накопление и распространение нравственности, а отнюдь не поражения и победы» (Пьецух В.А. Роммат: Роман-фантазия на историческую тему. – М: СП «Вся Москва», 1990, с. 159).

¹⁷⁷ Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)//Литературное наследие декабристов. – Ленинград: «Наука», 1975, сс. 25-74.

В фокусе исследования Лотмана не столько их литературное творчество, сколько творение собственных биографий теми, кто был объединен после восстания именем «декабристы». Лотман предложил перенести акцент в оценке декабристской традиции с идеологического плана (т.е. с неназванной в статье концепции «трех поколений-трех классов») на «человеческий» аспект – на традицию «определенного типа поведения», основанную декабристами¹⁷⁸. Бытовое, а не только политическое поведение декабристов были направлены на разрушение лицемерия или (чтобы не вносить морализации) «принципиальной двойственности» поведения европеизированного дворянского общества александровской эпохи¹⁷⁹. Открытость поведения будущих декабристов – жест, который они утверждали ради изменения нормы¹⁸⁰. Норма состояла в том, что параллельно существовали сфера «идеологической речи» (как уровень усвоенной европейской культуры) и «сфера практического поведения, связанная с обычаем, бытом, реальными условиями помещичьего хозяйства, реальными обстоятельствами службы»¹⁸¹. С точки зрения первой сферы вторая «как бы не существовала». Вот эту иерархию речевого поведения будущие декабристы нарочито игнорировали, отсюда отмечаемая современниками их «разговорчивость», резкость, прямота, стремление называть вещи своими именами вопреки ритуализированной светскости¹⁸². По сути, Лотман подвел концептуальную базу под романтизацию декабристов, продемонстрировав инструментальность своего подхода на решении трудных для героического романтизма вопросов: «болтливость» будущих де-

¹⁷⁸ Там же, с. 72

¹⁷⁹ Там же, стр. 31. Моральная оценка «двойственности» как лицемерия тоже становилась актуальной. Её оглашал герой комедии Грибоедова. Но декабристы не были людьми обличения и фразы: «Бытовое поведение не менее резко, чем формальное вступление в тайное общество, отгораживало дворянского революционера не только от людей «века минувшего», но и от широкого круга фрондёров, вольнодумцев и «либералистов» (там же, сс.60-61)

¹⁸⁰ «Декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, резко отличного по своему поведению от всего, что знала предшествующая история». (там же, с.29), и далее: «именно в создании совершенно нового для России типа человека вклад их в русскую культуру оказался непреходящим и своим приближением к норме, к идеалу напоминающим вклад Пушкина в русскую поэзию. Весь облик декабриста был неотделим от чувства собственного достоинства» (там же, с.69).

¹⁸¹ Там же, с.31

¹⁸² Там же, сс.30-31

кабристов, то ли не умевших, то ли не желавших скрывать свою тайную деятельность, демонстративность поведения некоторых из них (Лунина или, например, Чаадаева), поведение на следствии¹⁸³. Этот подход позволил убедительно сказать и о сложных смыслах подвига декабристок, не обращая при этом ни к теме христианства, ни к лирическому романтизму. Речь у Лотмана, скорее, о романтизме историческом – о специфическом поведении группы людей, сознающих, что они делают историю, о том, что люди 1812 года (воевавшие или бывшие детьми и подростками Отечественной войны) стали людьми 14 декабря, благодаря тому, что стали историческими людьми. Когда Лотман пишет о человеческом типе, проявленном в декабристах, он пишет именно об историческом человеке, рассматривающем свои поступки (в т.ч. слова) с точки зрения высшего смысла и памяти потомков¹⁸⁴.

Тип поведения, о котором говорит Лотман, он называет «школой гражданственности». В статье написано, что эта школа оказала «значительное воздействие на целое поколение русских людей»¹⁸⁵, но читателю середины 70-х было понятно, что статья решала не только задачи исследования девятнадцатого века, но и содержала публицистическое послание. Понятие исторического человека предполагает не только поступки как нравственные жесты, но и движение мысли – работу с историческими (высшими) смыслами и с путями их реализации, но в середине 70-х актуальным представлялся прежде всего нравственный аспект в поведении интеллигенции. Ситуация России рубежа 20 и 21 веков возвращает к теме поражения исторического человека: дискредитация высших (то есть исторических) смыслов приводит к тому, что он, исторический человек оказывается лишним и неуместным. Более того, и в ипостаси либерального интеллигента, и в роли радикального революционера, человек, для которого исторические смыслы являются доксой, может, как подвергаться

¹⁸³ «...бытовое поведение сделалось одним из критериев отбора кандидатов в общество. Именно на этой основе возникало специфическое для декабристов рыцарство, которое, с одной стороны, определило нравственное обаяние декабристской традиции в русской культуре, а с другой – сослужило им плохую службу в трагических условиях следствия и неожиданно обернулось нестойкостью: они не были психологически подготовлены к тому, чтобы действовать в условиях узаконенной подлости» (там же, с.38).

¹⁸⁴ Лотман Ю., ук.изд., с. 69.

¹⁸⁵ Там же, с.29

осмеянию, так и вызывать чувство общественной опасности, поскольку дискредитация исторических смыслов произошла не без активного участия этого социального типа.

В романе-фантазии Вячеслава Пьецуха в силу некоего случайного стечения обстоятельств декабрьская революция 1825 года побеждает и вызывает цепь событий, меняющих знакомый нам ход российской истории. Правда, самодержавие, в конце концов, реставрировано, но всё же страна к началу двадцатого века все-таки европеизируется, первая мировая война, хотя и не отменяется, но для России завершается не революцией, а по-европейски – парламентскими дебатами. И дорогая нам русская культура девятнадцатого века меняет свою физиономию в сторону буржуйской Европы – становится попроще, не столь критичной, масштабной и всемирной. Однако, писатель возвращает свою фантазию из полета обратно на Сенатскую площадь, причем не для того, чтобы рассмотреть вопрос, почему восстание не победило (дворцовые перевороты века восемнадцатого совершались в Петербурге куда более малыми усилиями), а для того, чтобы разобраться, зачем «понадобилось, чтобы оно закончилось именно поражением»¹⁸⁶. Именно этот вопрос Вячеслав Пьецух считает вопросом № 1, отодвигая на вторую очередь вопрос о причинах поражения: в истории случайностей не бывает и, если поражение случилось, значит, это человечеству понадобилось. А декабристы – проводники исторической целесообразности, они «потерпели поражение потому, что перед ними стояла цель распространения нравственности, а не упразднения самовластья»¹⁸⁷.

Историки в советское время альтернативную историю не моделировали. Исключение – глава «Фантастический 1826-й» в книге Натана Эйдельмана о Сергее Муравьеве-Апостоле¹⁸⁸. Автор позволил себе в биографической повести то, что не позволили бы ему коллеги в научном труде. Историк разворачивает достаточно убедительную картину возможного развития

¹⁸⁶ Пьецух В.А. Роммат: Роман-фантазия на историческую тему. – М: СП «Вся Москва», 1990, с.97.

¹⁸⁷ Там же, с. 159. Впрочем, автор подчеркивает, что, если исходить из исторических смыслов, то поражение революционной попытки декабристов – их победа. Свергнув власть и реализовав свои замыслы, они, очевидно, не выполнили бы или недостаточно исполнили бы своё нравственное предназначение.

¹⁸⁸ Эйдельман Н.Я. Апостол Сергей. – М: Политиздат, 1975 -391 с. (серия «Пламенные революционеры»). Фрагмент, о котором здесь идет речь на сс. 255-264.

событий в первые месяцы 1826 года. Фактором, определяющим иной исход дел, нежели состоявшийся (принцип реконструкции – «Не было. Могло быть»), становится присоединение 2-й армии по частям к мятежному Черниговскому полку. Версия событий по Эйдельману разворачивается последовательно, логично, без вбрасывания «джокера» (разве что союз новых русских властей с новыми польскими против Пруссии и Австрии), но хронология через пару месяцев ускользает из прогнозирования, веер вариантов расширяется и в то же время всё жестче напоминают о себе ограничения, накладываемые на действующих лиц историческими условиями и мировоззрением. Кажется, всё вернется на круги своя. Кроме, разве что, отмененного крепостного права и вмененной Конституции. Но это главное, это совершилось и в этом победа декабристов, даже если лично они потерпят поражение.

Почему не победили, и что было бы, если бы победили? Казалось бы на этих вопросах и вырастает альтернативная история. Но это квазивариативность, имитация альтернатив, поскольку версии оборачиваются логикой «краткого курса» (не случилось, значит, исторически не созрело) и карамзинской вертикали (историю России определяет верховная власть). Альтернативная история – это взгляд на Россию как на страну альтернатив, в которой сосуществуют и взаимодействуют альтернативы. И живут они не столько во власти и в тех, кто за власть борется, сколько в повседневности, в многообразии укладов, в персональных моделях социального поведения. Политические альтернативы тогда состоятельны и имеют смысл и силу, когда обращаются к этим социальным альтернативам. Для самих декабристов альтернативой стала не проекция не случившейся победы, а сибирская жизнь. Если открыть их письма и мемуарные записи, явно или скрыто пульсирует сибирский духовный опыт, позволяющий смотреть на Россию из внесловного мира, а на историю из мира внеисторического. Не взгляд путешественника, а взгляд и мысли людей, для которых Сибирь стала местом повседневной жизни и местом оставшейся части жизни. Большинство из них – во всяком случае те, кто оставил письменные следы, не доживало, а жило полноценной жизнью, исходя из того, что другой земной жизни не будет. Вопросы, вызвавшие мыслительную работу Поджио, выросли из несовпадения его имперско-сословного и сибирского

опытов. Точно так же, как вопросы Чаадаева к русской истории выросли из внутреннего диалога русского и европейского опытов, а интеллектуальное напряжение «Бориса Годунова» из невозможности совместить мир Царскосельского лицея и светского Петербурга с миром деревенской Псковщины, именуемой сегодня Пушкиногорьем.

Наследство до востребования. Отношения человека с историей в России – синоним отношений с властью. Главная особенность исторического существования России в том, что с момента вхождения страны в историю, то есть с начала 18 века, всегда роль субъекта истории, монополия на эту роль узурпировалась властью. Поэтому личный исторический опыт мог быть рожден только отстранением от власти, и это было поступком. А значит, отношения с властью нужно было объяснить – если не людям, то по крайней мере самому себе. Логика «краткого курса» – не авторское изобретение Сталина и даже не ленинская формула о трех революционных поколениях. Его логика – безальтернативность, которая начинается с запрета историческому человеку быть субъектом истории, если он не отождествляет себя с империей, то есть централизованной имперской властью. Отношения с властью оказываются импульсом для философии истории и ее предметом. И философия истории сама по себе как заявление о личном неотчуждаемом историческом опыте, как заявление о странности привычного хода вещей, а, значит, оправдание/обоснование возможных альтернатив была поступком. Достаточно вспомнить «Бориса Годунова», «Философические письма», «Былое и думы». Пушкинское «и я бы мог...» рядом с фигурками повешенных – переживание поэта, избежавшего расправы, но и вопрошание к историческим смыслам, и образ русской истории, в которой личный выбор уже ищет себе место, в которой человек пытается быть собой и найти общий путь к стране, где он мог бы быть собой. Для Пушкина быть собой – значит наследником Пугачева и Вольтера, собеседником Чаадаева и Николая I. Из этого же полдня 10 июля 1826 года, в который нас возвращают «Записки» Поджио, рождается «Философическое письмо» Чаадаева и его, Чаадаева, спор с Пушкиным.

Осмысливая человеческий опыт, отношения человека с историей, человек из России тем самым отстаивает право быть субъектом истории, оппонирует власти или порывает с нею. Потребность в философии истории пульсирует в русской культуре XIX-XX веков, однако, назвав имена Пушкина, Чаадаева, Герцена, Толстого, Георгия Федотова, вспомнив «Вехи» и «Из глубины» мы обозначим индивидуальные прорывы, высокие образцы, но не традицию. Необходимость определиться в отношениях с властью – предмет столь насущный и кровоточащий, что придавливает мыслительную работу, мешает философскому обращению с историей. Человеку с кровоточащей раной трудно философствовать – не позволяет прерывистое дыхание. Оттого и редки прорывы в философию истории, поэтому так просто избежать интеллектуальной работы, соблазнившись справедливостью нравственных приговоров.

Социальный идеализм нуждается в наследстве декабристов как в ресурсе интеллектуальном, что было недостаточно осознано в рамках советского декабристского мифа. Отношение к наследию декабристов как к ресурсу нравственному точно также оставляет нас в пределах политики, как и умолчание о декабристах. Необходимая сегодня рефлексия социального идеализма – пересмотр им своих оснований, ориентация в принципиально иной эпохе, когда исторический человек должен учиться жить в неисторическом мире, где история лишь одна из форм человеческого существования (значимая и необходимая, но одна из).

Когда для продвижения страны (жизни) к социальному идеалу (из истории выведенному и усвоенному с образованием и средой) исторического опыта не хватает. Исторический опыт – еще необходимый ресурс для такого движения, но уже недостаточный. Претензии исторических смыслов на доминирование разрушительны для самих основ жизни, поскольку смыслы истории не абсолютны, а их доминирование навязано политикой и инерцией мировоззренческих форм. Необходим социальный опыт, приобретаемый во внеисторических обстоятельствах, где дыхание глобального мира, вектор прогресса, напор мейнстримов воспринимается как нечто внешнее, чужое (и даже чуждое). Переплетение исторического и внеисторического – пространство, время и альтернативы страны, которая называется Россия.

Политтехнологические схватки и идейные битвы происходят вне этого пространства и времени, и без какого-либо интереса к альтернативам. Поэтому задачи сегодняшней работы с историческими смыслами сродни той, к которой принуждены были своим выбором и судьбой те, кого называли людьми 14 декабря. Вовлеченные в историю 1812 годом и мечтой о переустройстве российской жизни, они заново устанавливали свои отношения с историей после Сенатской площади и Петропавловской крепости. Их работа с историческими смыслами не сводилась к выяснению отношений с самодержавием, или, переводя на сегодняшний язык, происходила не в пределах политики. Переживание Александра Поджио вызвало в комендантский зал Петропавловки всех действующих лиц русской истории не ради морального суда над теми, кто выносит приговор ему и его товарищам, и не ради тривиального вывода: есть те, кто обслуживает власть, а есть те, кто дерзнул изменить ход вещей. Его интересовало, обречена ли страна на расхождение между властными предписаниями и индивидуальным выбором в пользу высших смыслов. Логику происходящего в маленьком зале, ставшим пространством русской истории, нельзя было постигнуть, если, всматриваясь в лица присутствующих современников, не пытаться разглядеть черты предков и потомков. История оказалась личным духовным опытом, в котором необходима интеллектуальная составляющая, а не только готовность давать нравственные оценки. А на место высших смыслов становится простой и понятный вопрос: может ли история позволить человеку быть самим собой? Или эта цель так же недоступна, как и высшие смыслы?

Шаги, которые предполагает актуализация декабристского наследия уже за рамками советского мифа, сопряжены с экзистенциальными трудностями и интеллектуальными усилиями: признание себя наследником не только побед (империи), но и поражений, и принятие мысли, что в России – в её истории и в настоящем существуют альтернативы, а не «социальный материал», который сопротивляется. И существуют эти альтернативы за стенами комендантского зала, где напротив друг друга те, кто остался элитой, и те, кто из элиты выброшен.

Оглавление

Несостоявшиеся встречи. Предисловие.	3
Глава 1. Имперская идентичность локального монументализма.	17
Глава 2. Деколонизация городского пространства: топонимия	46
Глава 3. Память города без прошлого. Устная история ударных строек.	69
Глава 4. Постсоветская судьба декабристского мифа	116

М.Я. Рожанский

Сибирь как пространство памяти

Монография

Издательство «Оттиск».
Лицензия ЛР № 066064 от 10.08.1998.
Подписано в печать 21.05.2014 г.
Формат 60x84 1/32

Отпечатано в типографии «Оттиск»
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 8,3. Уч.-изд. л. 10,4.
Тираж 300 экз. Заказ № 185.
664025, г. Иркутск, ул.5-й Армии, 26.
Тел./ факс: (3952) 34-32-34, 241-242.
E-mail: ottisk@irkmail.ru
www.ottisk-irk.ru